

АНДРЕЙ АМАЛЬРИК
СТАТЬИ И ПИСЬМА 1967-1970

АМСТЕРДАМ

1971

ФОНД ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

СТАТЪИ И ПИСЪМА 1967–1970

Серия «Библиотека Самиздата»

1. Процесс четырех. Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой. Составление и комментарии Павла Литвинова.
2. Андрей Амальрик – Статьи и письма 1967-1970.
3. Юлий Даниэль – Стихи из неволи.

АНДРЕЙ АМАЛЬРИК
СТАТЬИ И ПИСЬМА 1967-1970

СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА САМИЗДАТА»: № 2

АМСТЕРДАМ

1971

ФОНД ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ 'ИЗВЕСТИЯ'

Уважаемый товарищ главный редактор,

Ваша газета делает, как мне кажется, очень полезное дело, постоянно публикуя материалы о происходящих сейчас в Китае событиях, ввиду важности этих событий не только для Китая, но и для всего мира, и в первую очередь для нашей страны. Вместе с тем основная тенденция Вашей газеты – представить теперешние события в Китае как случайные и временные – кажется мне совершенно неверной. Едва ли верной была на страницах нашей печати оценка вообще всей истории послевоенного Китая. Мы вполне можем задать теперь себе вопрос: правильно ли было рассматривать китайскую революцию как один из этапов распространения некоего “интегрированного” коммунизма, а не как националистическую революцию, воспользовавшуюся коммунистической доктриной как средством для объединения Китая и выведения его из векового застоя и зависимости? Если стать на последнюю точку зрения, то в результате китайской революции СССР не только не расширил коммунистическую систему, в которой он был доминирующей силой, а наоборот – приобрел опасного соперника за

влияние в мире, прежде всего в Азии. С этой точки зрения, теперешние китайские события нисколько не являются случайными, а есть закономерное продолжение национально-коммунистической революции, в которой все более подчеркиваются ее националистические стороны и все более затушевываются интернационалистические. В частности, это находит свое выражение в отстранении и ликвидации старых партийных кадров и замене их кадрами, сформировавшимися уже в условиях господства национально-коммунистической идеологии. Этот процесс тем более должен быть понятен нам, что нечто подобное происходило и в нашей стране в период, предшествовавший второй мировой войне. Можно предполагать, что в течение ближайших лет положение в Китае стабилизируется. Тогда отчетливо станет виден следующий этап националистической революции – подготовка к войне как наиболее характерной для молодого национализма форме экспансии. В войне китайские руководители будут видеть как средство разрешения экономических трудностей, так и реванш за вековые унижения китайского народа.

Едва ли Китай все же начнет войну, прежде чем накопит достаточный запас ядерных бомб и средств их доставки. Не с тем, чтобы применить их, а как средство шантажа. Основной упор китайцы сделают на использование своего численного превосходства и опыта партизанской войны, что потребует также усиленного развития обычных воору-

жений. Видимо, от того, насколько форсированно Китай сумеет вооружить свою армию ядерным и обычным оружием, и зависят сроки начала войны. Думать же, что китайцы в силу крайней экономической отсталости и недостатка научных кадров никогда не сумеют этого сделать, значит уподобиться наивным американским предсказателям, которые после войны утверждали, что СССР по тем же причинам понадобится более десяти лет, чтобы взорвать первую атомную бомбу.

Можно думать, что как только Китай будет в состоянии начать войну, он ее начнет. Но начнет с удара по гораздо более слабому противнику. Скорее всего, первый удар будет нанесен по одной или нескольким слаборазвитым странам к югу от Китая, некогда входившим в сферу китайского влияния. Это будет своего рода пробным шаром, который позволит Китаю проверить реакцию великих держав, имеющих интересы в Азии. Если первый удар сойдет Китаю с рук – а он сойдет ему с рук без объединенного противодействия ныне антагонистических держав, – то Китай, по логике событий, вступит в противоборство со своим главным соперником на Азиатском континенте. Естественно, что этот противник – не Соединенные Штаты Америки, к которым у Китая нет территориальных претензий и против которых Китай просто не в состоянии совершить агрессии, не имея общей сухопутной границы и не располагая достаточными военно-морскими и военно-воздушными сила-

ми. Скорее наоборот Китай до начала войны со своим основным противником попытается как-то договориться с США по таким спорным вопросам, как Тайвань и Вьетнам, предложив приемлемое для США соглашение, в котором они так заинтересованы.

Как своего основного противника китайцы будут рассматривать Советский Союз – державу с колоссальными владениями в Азии, часть которых некогда принадлежала Китаю, и имеющую значительное политическое и экономическое влияние во многих азиатских странах, в которых заинтересован Китай.

Китай начнет войну обычными средствами, стремясь использовать свое колоссальное численное превосходство, и поставит СССР перед задачей: нанести первым ядерный удар и получить ядерный удар в ответ или же вести войну обычными средствами. Можно думать, что СССР выберет второй путь, и это создаст для нас проблемы, с которыми мы еще почти не сталкивались.

Ранее нам приходилось иметь дело с армиями, солдаты которых превосходили наших в отношении культуры, но значительно уступали им в стойкости и выносливости, теперь это будет наоборот. Ранее нам приходилось иметь дело с армиями, которые если не в момент вторжения, то во всяком случае в течение войны значительно уступали нашей по численности, теперь это будет иначе. Ранее противник вторгался в наиболее густонаселенные

наши районы, теперь в редконаселенные. Ранее противник, продвигаясь в глубь России, все более сталкивался с такой трудностью, как растянутость коммуникаций, теперь с чудовищной растянутостью коммуникаций с самого начала столкнемся мы.

Трудно сказать, как развернутся бои. Если война примет затяжной характер – безразлично, на русской или китайской территории, – и надолго свяжет руки СССР, то это сможет вызвать новую ситуацию в Европе. Западная Германия, если она будет уверена, что СССР не сумеет вмешаться, установит контроль над Восточной и поставит СССР перед совершившимся фактом. А это, в свою очередь, заставит многие восточноевропейские страны переоценить и переориентировать свою политику. Может случиться далее, что новая ситуация в Европе вызовет к жизни старые территориальные претензии: Румынии – на Бессарабию, Венгрии и Чехословакии – на Закарпатье, Польши – на Львов и Вильнюс, Германии – на Калининград, Финляндии – на Выборг и Печенгу. Еще более сложные проблемы появятся, если Китай на какое-то время начнет одерживать значительные успехи. В этом случае Япония может потребовать возвращения Курильских островов и Сахалина и предпринять шаги для их возвращения, а возможно, и для приобретения каких-то новых территорий на Советском Дальнем Востоке.

Тяжелые и затяжные бои на востоке скажутся и на

внутреннем положении нашей страны. Может появиться та же проблема, что и во время русско-японской и первой мировой войн, когда война велась на территории, населенной не русскими, вторжение и оккупация не воздействовали непосредственно на эмоциональное восприятие народа, побуждая его к непримиримой борьбе, между тем затяжная война требовала все новых и новых жертв и приводила, если так можно сказать, к моральному износу нации. Война с коммунистическим Китаем, территориальные претензии на западе и востоке и моральная усталость от войны могут привести к возрождению существующих пока еще в скрытом состоянии сепаратистских тенденций, в первую очередь в Прибалтике, Закавказье и Средней Азии.

Очень трудно предугадать позицию остальных держав в советско-китайском конфликте, главным образом США. Скорее всего, США не вмешаются в конфликт, хотя и будут оказывать небольшую экономическую помощь СССР, если мы обратимся к ним с подобной просьбой. Здесь многое будет зависеть и от того, какую позицию займет по отношению к США Китай.

Я не хочу прослыть дурным пророком и сказать, что все именно так и будет. Нетрудно заметить, что все мои предположения обставлены многочисленными “если” и “может быть”, которым всегда противопоставляется “а может и не быть”. Все же в политике разумнее предвидеть и предусмотреть

самый нежелательный ход событий, чем просто понадеяться на желательный. Конечно, приятно узнать, что наша страна в состоянии отразить удар “как с запада, так и с востока”, но лучше было бы вообще избежать этого удара. Естественно противопоставить силу силе, но, как мы знаем, лозунг “опоры на собственные силы” тоже не всегда хорош. Что же мог бы сделать Советский Союз, чтобы не оказаться в одиночестве перед лицом возможной агрессии?

Во-первых, отказаться от распространения своего влияния путем организации конфликтов или участия в конфликтах. Возможно, что это была единственно разумная политика двадцать лет назад, но сейчас, даже при отдельных успехах, она может иметь только отрицательные результаты для нашей страны. Во-вторых, стремиться к таким отношениям с другими странами, которые основываются на взаимных интересах и общности целей, а не на зависимости от нас, сложившейся в результате внутренних трудностей или военного поражения этих стран. При такой зависимости любой внешнеполитический успех всегда крайне неустойчив и может обратиться в свою противоположность. В-третьих, установить поллино дружеские отношения с США, отказавшись ради этого от противодействия им там, где они имеют жизненно важные интересы. Это, в свою очередь, привело бы их к лучшему пониманию интересов СССР и сделало бы две эти великие державы гарантами

прочного мира. В-четвертых, добиваться положения в Европе, которое было бы устойчивым и без постоянного давления СССР.

Уголь в топке уже кончился, а поезд по инерции продолжает мчаться по рельсам, несмотря на предостерегающее миганье светофора. Если двадцать лет назад Советский Союз и мог быть заинтересован в неустойчивости положения в мире, то теперь он более других должен быть заинтересован в его стабильности.

Буду весьма благодарен Вам, если Вы поместите мое письмо в Вашей газете. Я рассчитываю на это не в силу каких-либо особых достоинств моего письма, а в силу важности затронутых в нем вопросов, которые непосредственно касаются или коснутся всех нас.

Аналогичное письмо отправлено мной 17 ноября сего года в редакцию “Литературной газеты”.

18 декабря 1967

СОЮЗУ ЖУРНАЛИСТОВ СССР

Уважаемые товарищи!

18 октября этого года я был вызван в 6-е отделение милиции города Москвы, и человек, назвавший себя сотрудником Городского управления милиции Денисовым, заявил мне, что я веду “паразитический и антиобщественный образ жизни” и буду выслан из Москвы на основании Указа от 4 мая 1961 года. Я отказался признать себя “тунеядцем” и не стал подписывать никаких предупреждений. Действия милиции я нахожу безнравственными и незаконными.

С декабря 1966 года я работаю как внештатный корреспондент ряда газет, главным образом для Агентства печати Новости (АПН). Мои статьи и взятые мною интервью неоднократно печатались в вестниках АПН и публиковались в советской и английской печати. В настоящее время в АПН находится семь заказанных мне статей и мною получены от двух редакций новые задания. Когда я сообщил об этом Денисову, тот ответил, что его не интересует, что и для кого я пишу. В связи с этим я хочу спросить вас – является ли работа для новостей печати “паразитической и антиобщественной деятельностью”, как это пытается представить Денисов?

Я не могу считать себя “тунеядцем” не только потому, что я занимаюсь журналистикой. Я пишу пьесы, и хотя ни одна из них не была еще опубликована или поставлена, я в праве рассчитывать на признание моей литературной работы – работой, а не “паразитизмом”. В этом году, по предложению одного режиссера, я переделал для сцены повесть Гоголя “Нос”, и сейчас моя рукопись рассматривается в нескольких московских театрах. Это Денисов также счел “антиобщественной деятельностью”.

Поэтому, хотя я и не являюсь членом Союза журналистов, но как советский журналист прошу вашей защиты от незаконных и произвольных действий милиции.

Чтобы быть правильно понятым, хочу добавить, что в 1965 году меня уже выслали из Москвы в Сибирь по этому Указу. Народный суд и органы милиции не приняли тогда во внимание, что, не состоя нигде в штате, я все время работал в разных издательствах как внештатный корректор и переводчик, а кроме того, опекал своего парализованного отца, инвалида первой группы. В 1966 году Верховный суд РСФСР отменил приговор как необоснованный и я вернулся в Москву. Теперь же Денисов заявляет, что, оформляя на меня дело в 1965 году, органы милиции были правы, а Верховный суд, отменяя приговор, – неправ. Такая точка зрения, особенно для юриста, кажется мне крайне опасной.

В отличие от Денисова я не ставлю под сомнение решение наших верховных судебных органов, но не считаю, что каждый раз необходимо доводить до них дело. Отмена несправедливого приговора дала мне возможность вернуться в Москву, но не вернула жизни моему отцу, который скончался вскоре после моей высылки, оставленный без всякой помощи. Я сам вернулся из Сибири в критическом состоянии. У меня врожденный порок сердца, а в ссылке мне пришлось исполнять очень тяжелую физическую работу. Между тем судебно-медицинской экспертизой было установлено, что я к тяжелой физической работе не пригоден, на это указывается и в постановлении Верховного Суда. Каким же образом, помимо всего прочего, меня хотят привлечь к ответственности по Указу от 4 мая 1961 года, который как раз предусматривает “обязательное привлечение к физическому труду”? Я нахожу всему только одно объяснение. Историю своей высылки со всеми нарушениями советских законов, я изложил в книге “Нежеланное путешествие в Сибирь”, которую недавно закончил. Именно эта книга вызвала у лиц, виновных в моей первой высылке, желание отомстить мне – отомстить, вновь нарушая законы. Чтобы избежать нового нарушения законов, новых несправедливостей для своей семьи и для себя, я и обращаюсь к вам.

29 октября 1968 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. КУЗНЕЦОВУ

Уважаемый Анатолий Васильевич,

Я хотел написать Вам сразу же, как услышал по радио Ваше обращение к людям – тем самым и ко мне – и Вашу статью “Русский писатель и КГБ”. Я не сделал этого сразу, потому что жил в деревне, откуда мое письмо едва ли дошло бы до Вас. Но, может быть, вышло даже к лучшему, что я пишу Вам несколько месяцев спустя. Во-первых, я услышал – прочесть я не мог – еще Ваши письма в Пенклуб и г-ну Миллеру и смог лучше понять Вас. Во-вторых, могло бы показаться, что мой голос – голос, обращенный к Вам из страны, которую Вы покинули, – прозвучал бы заодно с голосами тех на Западе, кто осудил Вас за Ваше бегство и способ, какой Вы избрали для этого.

Это совсем не так. Я считаю, что если Вы как писатель не могли работать здесь или публиковать свои книги в том виде, как Вы их написали, то не только Вашим правом, но в каком-то смысле и Вашим писательским долгом было уехать отсюда. И если Вы не могли просто взять и уехать, как это может сделать любой человек на Западе, то заслуживает только уважения та настойчивость и та хитрость, какие Вы проявили для этого. В том, что

Вы воспользовались методом Ваших преследователей и обвели их таким образом вокруг пальца, я думаю, нет ничего предосудительного, а то, что Вы Вашим невозвращением и откровенной статьёй превратили зловещий донос в безобидное юмористическое произведение, может нанести вред только существующей в нашей стране магии доносов.

Однако во всем, что Вы пишете и говорите, оказавшись за границей, во всяком случае, в том, что я слышал, есть две вещи, которые кажутся мне неправильными и на которые поэтому я хочу Вам со всей откровенностью возразить.

1

Вы все время говорите о свободе, но о свободе внешней, свободе вокруг нас, и ничего не говорите о свободе внутренней, то есть свободе, при которой власть многое может сделать с человеком, но не в силах лишить его моральных ценностей. Но, видимо, такая свобода и связанная с ней ответственность есть обязательная предпосылка свободы внешней. Быть может, в некоторых странах свобода выражения своих мыслей достается человеку так же легко, как воздух, которым он дышит. Но там, где этого нет, такая свобода, я думаю, может быть только результатом упорного отстаивания своей внутренней свободы.

Вы пишете, как КГБ преследовал и шантажировал русского писателя. Конечно, то, что делал КГБ,

может вызвать только осуждение. Но непонятно, что же делал русский писатель, чтобы противостоять этому. Противоборствовать КГБ страшно, но что, собственно, угрожало русскому писателю, если бы он перед первой заграничной поездкой отказался от сотрудничества с КГБ. Писатель не поехал бы за границу, чего ему, вероятно, очень хотелось, но остался бы честным человеком. Отказавшись вообще от подобного сотрудничества, он утратил бы какую-то – пусть весьма значительную – долю свободы внешней, но достиг бы большей внутренней свободы. Вы все время пишете: меня вызвали, мне велели, цензура всегда ставила меня на колени... и т.д. Мне кажется, что если Вы постоянно шли на уступки и делали то, что в душе осуждали, то Вы и не заслуживали лучшего отношения со стороны КГБ или цензуры.

Я думаю, что вправе сделать Вам этот упрек. Я всегда старался не делать того, что я осудил бы в душе. Я не только не вступил в партию, как Вы, но также и в комсомол и даже в пионеры, хотя меня, маленького мальчика, настойчиво побуждали сделать это. Я предпочел быть исключенным из университета и расстаться с надеждой стать историком, но не исправлять ничего в работе, которую я сам считал правильной. Я предпочел вообще не носить свои стихи и пьесы в советские издательства, чем уродовать их в надежде, что меня напечатают. Долго рассказывать, как на меня обратил внимание КГБ, но коснусь того, о чем пишете Вы.

В 1961 году в КГБ мне любезно предложили писать общие отчеты о настроении интеллигенции, я так же любезно отказался, на чем дело и кончилось. В 1963 году меня ночью привезли на Лубянку и велели написать донос на одного из американских дипломатов, что якобы меня и других советских граждан он подвергает зловредной идеологической обработке. Я вновь отказался, хотя теперь мне уже угрожали уголовным делом. В 1965 году я вообще отказался с ними разговаривать, что стоило мне затем ссылки в Сибирь. Но главное, живя в этой стране и продолжая писать и делать то, что я считаю правильным, я в любой момент могу быть вновь заключен в тюрьму или со мной расправятся иным образом. Вот почему я думаю, что лично я вправе упрекать Вас.

Но, быть может, я и не вправе это делать. Прежде всего потому, что я почти на десять лет моложе Вас и меня только слегка коснулась наиболее страшная эпоха, с которой совпала Ваша юность и в которую Вы сформировались как человек. Ведь и сейчас режим существует хотя и не только, но главным образом на проценты с капитала страха, накопленного в ту эпоху. И не только в КГБ дело, а в том, что вся атмосфера советской жизни и советского воспитания такова, что человек уже подготовлен к встрече с КГБ и к тому, чтобы вступить с ним в те отношения, в каких были Вы.

Может быть, я еще и потому не вправе упрекать Вас, что мне могут возразить, что хотя Вы и шли

на непрерывные компромиссы и просто бесчестные поступки, но тем самым Вы добились – пусть в искаженном виде – публикации Ваших книг, получили признание как писатель в своей стране и тем самым внесли вклад в ее культуру, тогда как мои пьесы, хороши они или плохи, стали только моим достоянием или достоянием узкой кучки людей, что ни в глазах режима, ни в глазах общества и не являюсь писателем и что поэтому, что бы я ни говорил и ни писал, это никому не покажется столь уж важным и моя “литературная честность” окажется для меня в конце концов столь же никчемной, как девственность для сорокалетней женщины.

И еще можно ответить на мой упрек, что ведь очень многое в жизни случайно, что, вероятно, не только я гордо отвергал всякую возможность успеха в условиях этого режима, но и меня в каких-то случаях отвергали, что, сложись дело чуть иначе и предложи мне кто-нибудь опубликовать мою статью или пьесу, сделав для этого кое-какие изменения, устоял ли бы я – и, вступив на путь компромисса, как далеко зашел бы по нему? И, вероятно, писал же я в своей жизни и делал что-то, чего теперь могу стыдиться? И это тоже верно.

Наконец, следует ли вообще в чем-то упрекать человека, который так решительно заявил, что порывает со своим прошлым, и не побоялся рассказать о том, что многие уносят с собой в могилу, тем самым хоть отчасти показал, как действует постыдный механизм насилия в нашей стране.

И тем не менее я этот упрек Вам делаю. И не потому, что хочу осудить Вас лично, а потому, что хочу осудить философию бессилия и самооправдания, которая проходит через все, что Вы сказали или написали на Западе. “Мне не было дано иного выбора!” – как бы говорите Вы, и это звучит оправданием не только для Вас, но и для всей советской творческой интеллигенции, во всяком случае для той “либеральной” ее части, к какой Вы сами принадлежали. Вы осуждаете – прямо или косвенно – некоторых ее представителей, но поскольку Вы не произносите ни одного слова осуждения в свой адрес, во всем обвиняя только власть, то непонятно, почему же к остальным можно предъявлять какие-то требования. Вы хотите сказать, что все вы – жертвы насилия, но, мне кажется, никакое насилие не может быть эффективным без тех, кто готов этому насилию подчиняться. Иногда мне кажется, что советская “творческая интеллигенция”, то есть люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье, в целом явление еще более неприятное, чем режим, который ее породил. Лицемерие и принятие вещей такими, какими они ей навязаны, настолько въелись в нее, что во всякой попытке поступить честно она усматривает или хитрую провокацию или безумие. Я встречал людей, а Вы, вероятно, еще больше, кто, тайно ненавидя эту власть, делает все, что ему прикажут, и даже сверх того и, делая это, ненавидит еще сильнее. Однако еще сильнее ненавидит тех, кто, по Вашему

выражению из письма г-ну Миллеру, “шумно борется” с властью. Потому что рассерженная власть, ничего не разбирая, может наброситься не только на тех, кто “шумно борется”, но и на тех, кто “тайно ненавидит”.

Я не хочу сказать, что все, кто хочет большей свободы для себя и своей страны, должны выйти со знаменами на Красную площадь. Однако им следовало бы отказаться от обиходного цинизма, который одинаково обесценивает правду и ложь, поверить в какие-то моральные ценности, пусть даже смешные, и пытаться обрести внутреннюю свободу. Как это сделать – по-видимому, каждый должен решить сам. Не каждый может, да и не всегда это лучший способ, открыто выступить против тех условий, в которых мы живем. Но лучше вообще молчать, чем говорить неправду, лучше отказаться от публикации какой-то своей книги, чем выпустить прямо противоположное тому, что написал сначала, лучше отказаться от поездки за границу, чем стать ради этого осведомителем или “отчитаться” фиглярской поэмой, лучше отказаться от прессконференции, чем публично заявлять, что в нашей стране существует свобода творчества. Если отдельный человек или вся страна действительно хотят быть свободными, они должны как-то добиваться свободы, хотя бы путем несотрудничества с теми, кто их угнетает. Но иногда ради этого следует рисковать даже той свободой, какую имеешь, чего, как я понял, Вы так боялись.

Вам показался наивным заданный Вам кем-то на Западе вопрос: почему в СССР народ не заменит правительство, если оно якобы так плохо? Мне этот вопрос кажется совершенно разумным. Я бы ответил на него так: народ не заменит правительство не потому, что правительство хорошо, а потому, что плохи мы сами – мы пассивны, невежественны, боязливы, даем обмануть себя примитивными мифами и опутать бюрократическими путями, позволяем уничтожить наиболее активных наших граждан, в большинстве своем не понимаем своего положения, наша интеллигенция подкуплена, запугана и лишена моральных критериев, однако постепенно мы начинаем находить в себе силы – и это значит, что рано или поздно многое можно будет изменить.

Но Вы говорите не так. Вольно или невольно Вы хотите создать впечатление, что всякая борьба бесполезна и те, кто “шумно борется”, все же в большей или меньшей степени тоже лицемерят, выступая “за советскую власть”, лишь против отдельных или всех ее недостатков, как Синявский или Солженицын – и тем не менее Синявский сидит в тюрьме, а Солженицын “затравлен и измучен”. Вы же, будучи вообще против этой власти и потому “подлинной оппозицией”, – молчали и делали то, что Вам прикажут.

Я думаю, что все это неправда. Едва ли слово “советский” само по себе такая уж хорошая защита от режима. Быть может, режим видит самую боль-

шую опасность как раз в тех, кто говорит, что они “за советскую власть”, но подразумевают под “советской властью” совсем не то, что хочется режиму. Не зная лично ни Синявского, ни Солженицына, насколько искренна их общественная позиция, я судить не могу. Но она, как мне кажется, во всех случаях заслуживает только уважения, равно как позиция Даниэля и многих других. Что касается их книг – а Солженицына я считаю наиболее значительным современным русским писателем – то я полагаю, что они не советские и не антисоветские, а просто литература, которая хочет быть свободной. И, судя только по его книгам, нельзя сказать, что Солженицын “затравлен и измучен” – он производит впечатление человека, способного противостоять травле, он уже однажды сохранил свою внутреннюю свободу в тюрьме и, видимо, сохранит, если его еще раз посадят. В этом все мы можем черпать силы.

И когда Вы говорите, что хотите писать свободно и для этого бежали на Запад, я Вас понимаю и к той прагматической трезвости, с какой Вы сумели это сделать, отношусь с уважением, но когда Вы пытаетесь доказать, что Ваша “тайная ненависть” и явное сотрудничество здесь были “подлинной оппозицией”, косвенно намекая тем самым, что оппозиция Синявского или Солженицына – мнимая, и в то же время выступаете на Западе ходатаем за эту оппозицию, то мне кажется, что Вы ставите себя в фальшивое положение.

И едва ли КГБ, как это Вы пишете, сумеет уничтожить “самиздат” за два дня и играет с ним, как сытая кошка с мышью. Может быть, и за два часа КГБ сможет арестовать десятки распространителей “самиздата” – и то, что КГБ этого не делает, говорит, как мне кажется, не о его игривости – хотя игра и идет, – а о той неопределенности, в какой пребывают КГБ и режим в целом. Да кроме того, “самиздат” распространяется не среди единиц, как Вы пишете, а среди тысяч. Мне кажется, что та жалкая роль, в которую КГБ поставил Вас и многих Ваших коллег, невольно заставила Вас переоценить его могущество. Вы пишете, что мы живем в орвелловском мире, но если это так, то Вы Вашей покорностью и мистическим отношением к КГБ внесли свою лепту в этот мир.

Но, как бы то ни было, теперь Вы попали в иной мир и принесли Вашу “тайную ненависть” туда, где она может стать явной, но – увы – не вызовет ни ответной ненависти, ни ответного горячего сочувствия, скорее сочувственное любопытство, но иногда, как Вы уже убедились, и любопытство неприязненное.

И в связи с этим я хочу сделать Вам свой второй упрек.

2

Создается впечатление, что на Западе многие очень плохо представляют себе действительное положение в нашей стране, в частности положение писате-

лей. Происходит это, возможно, потому, что людям, с детства воспитанным на иной культуре и иных общественных принципах, так же трудно понять чужой мир, как трудно сразу заговорить на чужом языке, и еще потому, что информация о многих сторонах нашей жизни на Запад вообще не поступает или поступает в очень малых количествах, вдобавок те, на чьей обязанности лежит снабжать Запад информацией, сознательно или бессознательно ее искажают. Поэтому не только право, но и долг каждого русского, кто хочет, чтобы общественное мнение Запада лучше поняло его страну и даже своим авторитетом помогло достижению для нее большей свободы, долг такого русского честно информировать независимое общественное мнение о том, что у нас происходит. Информировать, но не искать сочувствия и тем более не пытаться вызвать жалость, как это, мне кажется, пытаетесь делать Вы.

Я думаю, что Ваши жалобы никого не тронут, как никого не тронули бы мои жалобы или чьи угодно, поскольку у каждого хватит сил, чтобы перенести чужие несчастья. Я думаю, что чем спокойнее и объективнее мы будем освещать положение писателя в нашей стране и чем менее драматично указывать так называемой “прогрессивной западной общественности” на ее нечестность по отношению к нам, тем скорее мы сумеем разрушить ту фальшивую репутацию, которую сумел создать себе за границей существующий у нас режим.

Я говорю о нечестности, потому что нечестно, пользуясь полной свободой слова и иными свободами в своей стране или добиваясь для себя больших свобод и большего влияния, в той или иной форме сотрудничать с режимом, который лишает этих свобод и всякого влияния своих граждан, искать тех или иных оправданий для этого режима, вступать с ним в какие-либо контакты и диалоги. Я думаю, мы не вправе осуждать этих людей за то, что их собственные проблемы волнуют их больше, чем все наши страдания, тем более мы не вправе требовать, чтобы они влезли в нашу шкуру и на себе испытали, каково нам приходится. Но нам не следует также жаловаться им, искать их сочувствия и обижаться, если не найдем его. Мы должны только говорить им и всем, кто будет нас слушать, правду о положении в нашей стране. Ибо в первую очередь в этом нуждается сама наша страна.

И думаю, мы еще вправе сказать им: если вам дорога не только свобода для вас, но вообще принцип свободы, подумайте один раз, прежде чем ехать для “интеллектуального диалога” в страну, где извращено само понятие свободы, и подумайте десять раз, прежде чем, полюбовавшись на потемкинские деревни, писать полные мнимой многозначительности отчеты о России.

Желая убедить западную общественность, что положение писателей и всего народа в нашей стране очень тяжело, Вы несколько раз повторяете, что у

нас якобы существует фашистский строй. Но дело даже не в том, верно это или нет, а в том, что пока фашизм не был повержен и разоблачен, в демократических странах находилось много людей, которые восхищались фашизмом или, во всяком случае, находили в нем те или иные достоинства. Быть может, они считали, что для них самих фашизм не подходит, но для немцев и итальянцев он вполне хорош. Многие надеялись также, что постепенно вовлеченный в респектабельное общество разных международных организаций фашизм откажется от своих дурных замашек. Так что я не знаю, достигают ли цели эти Ваши аналогии.

Не знаю также, правильно ли Вы поступили, прося г-на Миллера как председателя Пен-клубов заняться судьбой писателей в России. Г-н Миллер, вне зависимости от того, какой он писатель и человек, на своем посту вынужден был заниматься не литературой и ее судьбами, а ведущейся вокруг литературы политикой – так это кажется, глядя из России, – и в области этой политики ставил задачу присоединения к Пен-клубу советской писательской организации. С точки зрения политики, это было бы, возможно, большой победой г-на Миллера, но что бы это дало с точки зрения литературы? Что стало бы лучше в нашей стране от того, что Кочетов или Евтушенко поехали бы в Ментону и заявили там, что в СССР существует свобода творчества? Разве положение восточногерманских писателей лучше, чем положение советских, от то-

го, что Восточная Германия член Пен-клуба? По-моему, политика и искусство вещи несовместимые и даже противоположные – и потому всякая ведущаяся вокруг искусства политика не только всегда пренебрежет интересами искусства ради чисто политических задач, но и внесет в него чуждый искусству дух компромисса.

Вот, в общем, то, на что я хотел возразить Вам. И еще хочу сказать: не принимайте близко к сердцу все, что Вы услышите на Западе. Вас упрекнули, что в результате Вашего невозвращения положение в нашей стране станет еще хуже, что многие Ваши коллеги уже не смогут поехать на Запад. Не думаю, чтобы положение стало хуже. Беда не в том, что не напечатают очередной псевдолиберальный стишок или не пустят за границу его автора, а в том, что многие талантливые поэты и прозаики вообще лишены возможности себя проявить: одни вообще перестают писать, а другие встают на путь жалкого конформизма. Тут Ваше невозвращение ничего не изменит ни к худшему, ни к лучшему. Вот если это Вы сумеете объяснить на Западе – это будет очень важно.

Вы хотите убедить Запад, что Ваши взаимоотношения с КГБ были скорее правилом, чем исключением для советской писательской среды. Вы намекаете, например, что некоторые известные поэты были, как и Вы, осведомителями. Но, мне кажется, главное не то, что писатели служат КГБ, а что литература выполняет, подобно КГБ, служебные

функции, не то, справедливы или нет Ваши намеки, а то, что все это поэтически-политическое фиглярство, которое расцвело в эпоху Хрущева и показалось не особенно нужным его преемникам, имеет столь же мало отношения к независимому искусству, как и писания Кочетова. Мне кажется даже, что искренний обскурантизм Кочетова заслуживает большего уважения, чем мнимое бунтарство тех, кто наряду с водкой и черной икрой был долгое время нужным режиму экспортным товаром.

Я пишу Вам в ответ на статьи и письма, открыто опубликованные Вами, и потому свое письмо рассматриваю как открытое. Желая, чтобы оно было опубликовано, я хотел написать как можно короче, но получилось необычайно пространно: или я не умею писать, или слишком многого хотел коснуться сразу. Тем не менее я посылаю Вам это письмо через газету “Дейли Телеграф” и буду очень рад, если эта уважаемая газета его опубликует. Я хотел бы этого прежде всего потому, чтобы на Западе знали, что в нашей стране существует иная точка зрения на Ваше невозвращение, чем та, которую высказали в советской печати Ваши бывшие коллеги.

Анатолий Васильевич, я горячо и искренне поздравляю Вас с тем, что теперь Вы очутились в свободной стране, и надеюсь, что это будет большим шагом для Вас на пути к внутренней свободе. Поэтому я больше всего хочу и прежде всего желаю Вам, чтобы Ваши книги, написанные и изданные в

условиях свободы, оказались лучше и интереснее того, что было под Вашей фамилией издано в СССР.

1 ноября 1969

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ “НЬЮ-ЙОРК
ТАЙМС”, “ВАШИНГТОН ПОСТ”,
“ЛОС-АНЖЕЛЕС ТАЙМС” (США),
“ТАЙМС” (АНГЛИЯ), “ЛЕ МОНД”
(ФРАНЦИЯ), “ХЕТ ПАРОЛЬ”
(ГОЛЛАНДИЯ)

Уважаемый господин редактор,

несколько издательств в Голландии, США, Англии и Франции в настоящее время издают или уже издали мои книги “Нежеланное путешествие в Сибирь”, “Просуществует ли СССР до 1984 года?”, а также пьесу “Восток-Запад” и другие. Я заключил со всеми этими издательствами договоры, или непосредственно, или через лицо, которому я выдал доверенность. Тем самым, помимо желания опубликовать свои книги, я хотел доказать, что советский гражданин, как и гражданин любой другой страны, имеет право публиковать за границей книги, не изданные в собственной стране, делать это под своим именем, самому определять с издателями условия публикации и пользоваться всеми вытекающими отсюда авторскими правами.

Одним из этих прав является получение гонораров. Действительно, некоторые издательства уже пе-

реслали мне через Государственный Банк СССР часть гонораров за мои книги. Однако официальные советские органы, ведающие обменом валюты, по существу лишают меня возможности получить эти гонорары. Ссылаясь на тайную инструкцию, мне заявили, что я издаю свои книги на Западе без согласования с советскими официальными организациями, следовательно незаконно, и правила выдачи авторских гонораров на меня распространены не будут. В лучшем случае их готовы рассматривать как “подарок”, присланный мне кем-то с Запада. Такое положение неприемлемо для меня, поскольку это не подарок, а заработанные мною деньги, но, по-видимому, оно выгодно для советского правительства, потому что подарок облагается гораздо большим налогом, чем авторский гонорар. Во Всесоюзном управлении по охране авторских прав, куда я обратился за помощью, мне сказали, что все мои публикации совершенно законны, но помочь мне в осуществлении моих прав отказались.

Три года назад я хотел передать пострадавшей от наводнения Флоренции гонорар за изданную в СССР книгу моего отца, что я мог сделать как его наследник. Министерство финансов СССР отказало мне в этом, ссылаясь на то, что советское правительство крайне нуждается в иностранной валюте и потому не может переводить в валюту советские рубли. Учитывая такое тяжелое положение советского правительства, я мог бы добровольно по-

жертвовать ему какую-то сумму в иностранной валюте, но я никогда не буду делать этого по принуждению. Поэтому, если мои авторские права не будут соблюдаться в СССР, я буду вынужден просить моих издателей не пересылать гонорары через такие недобропорядочные учреждения, как советские, а хранить их на Западе.

Я прошу Вашу уважаемую газету опубликовать мое письмо, с тем чтобы я мог публично пристыдить советское правительство за проявляемые им скаредность и мелочность. Сталин расстрелял бы меня за публикацию моих книг за границей, его жалких преемников хватило только на то, чтобы попытаться присвоить часть моих денег. Это только подтверждает мое мнение о деградации и дряхлении этого режима, высказанное в книге “Присуществует ли СССР до 1984 года?”.

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ

Проводимый десятилетиями террор породил в моей стране не только атмосферу страха, но и связанную с ней атмосферу всеобщего недоверия и подозрительности. Поэтому, когда появились люди, осмеливающиеся делать то, что раньше никто не решался делать или что каралось немедленным арестом, почти за каждым из них пополз слух, что раз они действуют так смело – значит имеют на то разрешение или указание тайной полиции. Эти слухи исходили от тех, кто из-за природной или привитой трусости сам никогда не решился бы сделать что-то неуютное режиму и потому не мог понять, что просто могут быть более смелые или более отчаявшиеся люди.

Поэтому, когда до меня доходили подобные слухи обо мне, я всегда огорчался, но понимал, что они неизбежны. Также я хорошо знал, что ни один из моих друзей или людей, которым я хорошо известен, ни на секунду не примет всерьез подобный слух, и также ни один из моих недоброжелателей не осмелится сделать подобное заявление публично, зная, что у него нет ни одного факта для этого. Так обстоит дело в моей стране.

К сожалению, я убедился, что и на Западе есть

люди, которые руководствуются логикой “раз человек поступает не как все, значит дело не чисто”. Вдобавок считают возможным придавать свои домыслы широкой гласности, признавая, что у них “нет ответов, только подозрения”. Мне кажется, что, имея “только подозрения”, вообще не следует никого публично пятнать – ведь эти “подозрения” имеют не только академический интерес, а касаются человеческой чести и достоинства.

Однако, поскольку в нескольких американских газетах уже появилась версия, что я *могу быть* агентом КГБ, я хотел бы предать гласности, что я сам об этом думаю.

Как я понял, впервые эту версию высказал г-н Брэдшер в газете “Вашингтон Ивнинг Стар”, 26 ноября, 1969. Когда я только слышал об этой статье, я имел намерение написать небольшое письмо редактору “Стар”, с тем чтобы опровергнуть содержащиеся в статье “подозрения”. Я думал все же, что она написана хотя и в неприятном для меня, но разумном и спокойном тоне. Но когда я наконец смог достать эту статью и прочитать ее, я убедился, что это не что иное, как ведро помоев, вылитое на мою голову. Поэтому я вообще не хочу писать в газету, которая поместила подобную статью, я передам свое письмо американским корреспондентам в Москве и буду благодарен любой американской газете, которая его опубликует.

Хотя г-н Брэдшер начинает свою статью в полуво-

просительном тоне, она оставляет впечатление, что он не столько хочет разобраться в том, кто же я, сколько сознательно пытается меня опорочить. Он искажает и подтасовывает факты, допускает некрасивые намеки и обнаруживает типично полицейское мышление, не в силах ни на какую вещь взглянуть просто, а обязательно ища в ней скрытую и непристойную подоплеку. В то же время он упорно не хочет взять какое-либо утверждение на свою личную ответственность, все время ссылаясь на неких “специалистов”, “перебежчика из СССР”, “человека, который хорошо знал Амальрика несколько лет назад” – причем все это анонимы. Подобная статья вполне могла появиться в “Правде”, с той только разницей, что я был бы назван агентом не КГБ, а ЦРУ.

Тем не менее, не имея возможности вызвать г-на Брэдшера в суд за диффамацию, но желая себя защитить, я подробно отвечаю на его аргументы.

Моя критика Кузнецова

Первый аргумент – это мое открытое письмо “советскому прозаику Анатолию В. Кузнецову, который недавно перебежал в Англию и разоблачил контроль тайной полиции над советскими писателями”.

“Это письмо, – продолжает г-н Брэдшер, – по мнению здешних специалистов, направлено на то, чтобы скомпрометировать в глазах Запада роль

Кузнецова как мужественного борца за свободу писателей – и следовательно разрушить ту пользу, которую он приносит антикоммунистической пропаганде”. Он добавляет, что я “попрекнул его за открытое признание, что он служит КГБ в качестве информатора”.

В своем письме я критикую Кузнецова вовсе не за то, что он “разоблачил контроль тайной полиции над советскими писателями”. В моих глазах как раз единственным мужественным поступком Кузнецова было то, что он честно рассказал о своем сотрудничестве с КГБ и тем самым отчасти разоблачил механизм контроля над писателями. Так я и пишу об этом в своем письме.

Так же я не критикую Кузнецова за то, что он бежал за границу, как это было понято некоторыми невнимательными читателями моего письма. Наоборот, я пишу там, что если он не мог свободно работать в СССР, то не только его правом, но и писательским долгом было бежать туда, где он может писать то, что хочет, и публиковать то, что пишет.

Я критикую Кузнецова за то, что, оказавшись за границей, он пытается полностью оправдать свою осведомительную деятельность и свой конформизм в СССР, сваливая все на жестокость режима, и тем самым оправдывает трусливое и пассивное поведение большинства советской интеллигенции, которая хочет, чтобы ее “жалели”, потому что она несвободна, но не хочет делать ни малейших уси-

лий, чтобы этой свободы добиваться. Таким образом, я пишу, что если мы хотим изменить режим своей страны, мы все должны взять долю личной ответственности за это.

Я надеюсь, что сам Анатолий Васильевич Кузнецов правильно понял смысл моих упреков, которые я делал не для того, чтобы “скомпрометировать его роль в глазах Запада”, а чтобы показать ему, что независимые люди его страны относятся к нему не так, как официальная советская печать, но и не так, как те, кто оценил его с точки зрения пользы, “которую он приносит антикоммунистической пропаганде”.

Мне трудно судить, “разрушает” мое письмо эту “пользу” или нет, но хочу сказать, что “пропаганда” – самое отвратительное для меня слово, и когда я писал свое письмо, я думал не о коммунистической или антикоммунистической пропаганде, а о достоинстве русского писателя.

Г-н Брэдшер прямо фальсифицирует мое письмо. Я пишу, что Солженицын, судя по его книгам, не производит впечатление “затравленного и измученного” человека, что он способен противостоять любой травле, что он уже один раз сохранил свою внутреннюю свободу и достоинство в тюрьме и я уверен, что вновь сохранит их, если его опять посадят за решетку, и я добавляю, что все мы можем черпать силы из примера Солженицына.

А г-н Брэдшер излагает это место моего письма так: “Амальрик сказал ‘нельзя сказать, что Сол-

женицын... затравлен и измучен' и хладнокровно добавил, что он смог бы пережить еще одно заключение”.

Г-н Брэдшер еще несколько раз искажает мое письмо Кузнецову. Он пишет: “Амальрик заявляет, что он предпочитает молчать и страдать, нежели лгать за привилегии” и заключает, что раз я не молчу и вместе с тем “по-видимому, все же не страдаю” – это вызывает большой вопрос. В действительности я пишу в письме всего лишь о том, что людям, которые не могут открыто выступить против режима, лучше просто молчать, чем писать и говорить то, что противоположно их собственным взглядам.

Мое возвращение из Сибири

Второй аргумент – это мое досрочное возвращение из Сибири, куда я был сослан по указанию КГБ. “В 1966 году русский Верховный суд пересмотрел приговор, – пишет г-н Брэдшер, – и Амальрик вернулся в Москву. Пересмотр необычен, а разрешение вернуться в Москву еще более необычно”. И далее пишет: “Возможно, он купил свое возвращение из Сибири тем, что согласился сотрудничать”. Здесь г-н Брэдшер опять искажает факты или просто их не знает.

Пересмотр приговоров самая обычная практика, и это связано не с какими-то закулисными соглашениями, а просто с тем, что многие дела ведутся низшими инстанциями крайне безграмотно, пригово-

ры выносятся явно необоснованно – и это заставляет высшие инстанции что-то в них менять, даже если подобные дела курировались КГБ. Что же касается осужденных по Указу от 4.5.1961, как я, то я вообще не знаю ни одного случая, чтобы осужденный по политическим мотивам отбыл по этому Указу срок полностью, настолько грубо и неправомерно делались эти дела. Как и мне, был пересмотрен приговор поэту Иосифу Бродскому – и он смог досрочно вернуться в свой родной Ленинград. О его деле много писали на Западе и там выходили его стихи. Так же досрочно вернулись в Москву из ссылки поэт Батшев (из группы СМОГ) и художник Недбайло. Всех их, следуя логике г-на Брэдшера, следует объявить агентами КГБ.

Еще более нелепо его утверждение, что “необычно разрешение вернуться в Москву”. Такое разрешение не дается только в том случае, если человек осужден за “особо опасные государственные преступления” (в том числе по ст. 70 УК РСФСР) или он рецидивист. Во всех остальных случаях, если осужденный ранее жил в Москве и имеет там родственников, которые согласны принять его, он может вернуться. Так, в 1962 году в Москву вернулся Гинзбург после первого заключения, в 1969 году вернулась Белгородская – я пишу о делах, известных на Западе. Иногда даже может вернуться человек, осужденный по ст. 70 УК. Так, в 1965 году в Москву вернулся генерал Григоренко, освобожденный из ленинградской тюремной психбольницы.

цы. Следуя логике г-на Брэдшера, это тоже все агенты КГБ.

В случае же отмены или пересмотра приговора возвращение тем более очевидно. Нет надежды на пересмотр приговора и почти нет надежды на возвращение в Москву в тех случаях, когда власти проводят “показательный” процесс – с освещением его в печати, “митингами трудящихся” и т.д., как это было с делом Синявского и Даниэля или Гинзбурга и Галанскова. Во множестве же рядовых дел, каким было мое в 1965 году, все обстоит не совсем так.

Г-н Брэдшер вообще плохо знаком с правом и юридической практикой в СССР, иначе он не писал бы, что я хочу “подвергнуть испытанию закон, по которому писатели Андрей Д. Синявский, Юлий М. Даниэль и другие подверглись заключению за то, что передавали свои работы за границу”. Никакого закона, запрещающего передавать свои работы за границу, в СССР нет. Формально Синявский и Даниэль были осуждены не за передачу своих произведений на Запад, а за их “антисоветский характер” – с этой точки зрения безразлично, публиковали они их на Западе или распространяли в списках среди своих друзей в СССР. Своими публикациями я как раз хочу доказать как на Западе, так и в СССР, что такого закона нет и все преследования за это незаконны.

“Специалисты находят странным, – пишет далее г-н Брэдшер, – что и арест 1965 года и майский налет (т.е. обыск в 1969 году – А.А.) случилось в

присутствии американцев...” – т.е. он хочет создать впечатление у своих читателей, что это были специально подстроенные КГБ представления. В действительности я был арестован 14 мая 1965 года без всяких свидетелей, даже мой тяжело больной отец и мои друзья смогли узнать о том, где я, только через две недели. Если бы г-на Брэдшера действительно интересовали обстоятельства моего ареста и освобождения – ему следовало бы сначала прочитать мою книгу “Нежеланное путешествие в Сибирь”, о которой он упоминает в своей статье и где я подробно пишу обо всем этом. Я думаю, он удержался бы тогда от своих некрасивых и бездоказательных утверждений.

Что же касается обыска 7 мая 1969 года, то он действительно произошел в присутствии американских корреспондентов, что, я думаю, не доставило КГБ никакой радости.

Мое общение с иностранцами

Третий аргумент – мое постоянное общение с иностранцами и дружеские отношения с некоторыми американскими корреспондентами в Москве. “Инакомыслящие, которые защищали Синявского и Даниэля, публично предупреждали о возрождении сталинизма и заклеили вторжение в Чехословакию, – пишет г-н Брэдшер, – не могут делать ничего подобного. Их КГБ удерживает от подобных фамильярностей с западными людьми”.

Даже следуя полицейской логике г-на Брэдшера, следует предположить, что раз эти “публичные протесты и предупреждения” все же стали известны на Западе и получили широкую огласку, то если не все, то кто-то из “подлинных инакомыслящих” должен был иметь дружеские и доверительные отношения с западными людьми в Москве, поскольку весь “самиздат” попадает на Запад не через ТАСС или АПН.

Но можно и не прибегать к этим умозаключениям, поскольку западным журналистам в Москве хорошо известно, что многие инакомыслящие встречались и встречаются с иностранцами, бывают у них в гостях или принимают у себя дома.

Я думаю, что несколько искаженная картина полной неконтактности между русскими и иностранцами получилась у г-на Брэдшера от того, что сам он за четыре года своей работы в Москве ни разу не говорил ни с одним русским, за исключением официальных лиц, да и вообще не знал ни одного русского слова.

КГБ, действительно, препятствует общению советских граждан с иностранцами, причем хорошую помощь в этом им оказывает “сверхосторожность” некоторых западных корреспондентов в Москве, которые боятся выйти за стены своего бюро и в каждом встречном русском видят “агента тайной полиции”.

Г-н Брэдшер из-за своей мрачной подозрительности допускает и другие нелепости. Он пишет, напри-

мер, как это моя жена и я смогли пройти 4 июля на прием к американскому послу, когда у ворот стояли агенты тайной полиции. Мы прошли, потому что имели приглашение, с которым нас никто не стал бы задерживать. Но мы прекрасно могли бы пройти вообще без всякого приглашения, потому что, как это должно быть известно г-ну Брэдшеру, к началу приема в ворота сразу проходит такое количество гостей, что ни у кого из них не спрашивают приглашение и агенты КГБ просто не в силах усмотреть за каждым.

Желая во что бы то ни стало опорочить меня, г-н Брэдшер пытается все во мне представить в дурном и искаженном свете, даже то, что я люблю и коллекционирую живопись, а моя жена, художница, продала несколько своих картин американцам. “Он был поставщиком подпольного искусства” – так квалифицирует это г-н Брэдшер. “Он пытается понравиться женам сменяющих один другого американских послов” – предупреждает он далее.

По-моему, только очень мелкий человек может так писать.

Мой антипатриотизм – орудие “черной пропаганды”

Четвертый аргумент – моя книга “1984?” непатриотична; я рекламируюсь обманутыми мной западными журналистами как “смелый член... группы инакомыслящих”; западные радиостанции сообщат

содержание моей книги русским слушателям – и те перенесут возмущение моим антипатриотизмом на “подлинных инакомыслящих”. Этот хитроумный план разработан отделом “черной пропаганды” АПН, в котором я работал, а разгадан анонимным “перебежчиком из СССР”, который выступает у г-на Брэдшера как эксперт по русскому патриотизму.

Я думаю, что этот план все же слишком сложен для тех простодушных людей, которые занимаются советской пропагандой и контрпропагандой, вдобавок он потребовал бы специально для пересказов моей книги прекратить глушение западных передач. Но дело не в этом.

Здесь г-н Брэдшер, как и в случае с моим письмом Кузнецову, снова прибегает к прямой фальсификации. Я пишу, что единственная надежда для всего мира на лучшее будущее, это не расовая война, а межрасовое сотрудничество, лучшим примером чего было бы сотрудничество между США и Китаем; г-н Брэдшер с целью доказать мой “антипатриотизм” излагает это место, как “предложение о сотрудничестве США с Китаем, которое должно опрокинуть советскую систему”. Я пишу, что в случае затяжной войны с Китаем на окраинах Советского Союза все сильнее будут проявляться тенденции к национальному обособлению, г-н Брэдшер называет это “защитой регионального национализма в Советском Союзе”.

Г-н Брэдшер так же всячески пытается обыграть

мою работу для Агентства печати Новости, занимающегося главным образом пропагандой за рубежом. В действительности я работал для них, как и тысячи других внештатных журналистов, которые не проходят никакой проверки, брал интервью у московских режиссеров и писал статьи о театре и живописи, но как только КГБ вновь заинтересовалось мной, я был немедленно отстранен от работы в АПН и мне даже отказались выдать справку, что я два года для них работал. После этого, чтобы не быть вновь высланным из Москвы, я стал разносить газеты на почте. Нужно обладать большой долей воображения или неосведомленности, чтобы делать отсюда выводы г-на Брэдшера.

Что же касается моего “антипатриотизма”, то и не прибегая к фальсификации, можно найти в моей книге много резких суждений о моей стране и моем народе. Может быть, рядовой русский человек, если бы он получил возможность прочесть или услышать мою книгу – а, вопреки мнению г-на Брэдшера, он этой возможности не получит – нашел бы некоторые места моей книги непатриотичными. Но я считаю лучшим патриотом не того, кто льет патоку на раны своей страны, а того, кто обнажает эти раны, с тем чтобы можно было лечить их. Может быть, непатриотично критиковать свою страну и предупреждать ее о грозящих опасностях, издавая для этого книгу за границей. Но у меня нет иной возможности. И кроме того, я считаю, что моей стране пора изживать комплекс национальной и

социальной неполноценности, при котором страшна любая критика – как изнутри, так и снаружи. Я люблю мою страну, в которой я родился и вырос и о необычайной судьбе которой я не могу думать без слез. Разлука с ней была бы для меня большим горем, но я с горечью сознаю, что я не восхищаюсь своей страной. Если бы я смог сделать выбор до своего рождения, я предпочел бы родиться в маленькой стране, которая с оружием в руках борется за свою свободу, как Биафра или Израиль.

Я все еще не арестован

Пятый аргумент – несмотря на публикацию моих книг за границей, я все еще не арестован. Мой арест – своего рода лакмусовая бумажка, которая должна определить, агент ли я КГБ или нет. Как я мог понять, так думает не один г-н Брэдшер.

Мне такая постановка вопроса кажется крайне безнравственной. Моя страна не римская арена, я не гладиатор, а западный мир, от чьего имени г-н Брэдшер с пафосом начинает говорить к концу своей статьи, не римский плебей, который с азартом или хладнокровием наблюдает, погибнет ли по-настоящему гладиатор или же это только цирковой трюк.

Когда я писал и собирался дать для публикации свои книги, я понимал, что мне грозит тюрьма, и был готов к этому и готов к этому сейчас. Но я благодарю Бога за каждый день свободы, дарован-

ный мне, который я провожу у себя дома, со своей женой. Мне кажется, что добропорядочный и верящий в Бога человек не должен говорить: “он еще не арестован – это очень подозрительно”, но: “слава Богу, он еще не арестован, значит одним свободным человеком на земле больше”.

Я думаю, что анонимные “специалисты” г-на Брэдшера все же не занимали ответственных постов в тайной полиции тоталитарного государства и потому едва ли компетентны судить, кого следует арестовать сразу, а кого потом. Я думаю, что в КГБ работают достаточно здравомыслящие, с полицейской точки зрения, люди, и что меня арестуют, когда за границей уляжется шум и упадет интерес ко мне и моим книгам, и будут судить меня не за книги, а подыщут какой-нибудь второстепенный предлог. И прежде чем арестовать, меня попытаются нравственно измазать, как это пытались делать со всеми остальными. Я думаю поэтому, что статья г-на Брэдшера очень обрадовала КГБ. Что касается сроков моего ареста, то бюрократический режим не торопится по самой своей природе и потому, что хорошо знает, что никто от него не уйдет. Марченко был арестован через шесть месяцев после того, как он начал распространять свою книгу о советских лагерях, Григоренко – через семь месяцев после своей знаменитой речи на похоронах Костерина, Богораз-Даниэль и Литвинов – через восемь месяцев после своего обращения “К мировой общественности”, Яхимович через четырнадц-

цать месяцев после своего письма Суслову с осуждением процессов над инакомыслящими, Горбаневская – через пятнадцать месяцев после того, как приняла участие в демонстрации на Красной площади и так далее. Не думаю, чтобы для одного меня стали делать исключение.

На Западе также хорошо известны имена русских писателей, книги которых публиковались за границей, и тем не менее многие из них на свободе, и вовсе не нужно поручать специальному агенту сочинять книги, чтобы “смягчить дурное впечатление, созданное за границей жестокостью полицейских репрессий”.

В своей статье г-н Брэдшер допускает еще много неточностей, он даже не знает моего имени и несколько раз называет меня “Андреем Александровичем”, тогда как я Андрей Алексеевич. Но я думаю, что все это не так важно, поскольку, как мне кажется, я ответил на все его аргументы. На все, кроме одного, который показался мне самым... убедительным.

Я хочу, чтобы меня правильно поняли

“Имя Амальрика не обнаружено ни под одним из протестов против процесса Синявского и Даниэля или последующих процессов молодых инакомыслящих”, – пишет г-н Брэдшер и делает вывод, что мне “не хватает доверия других инакомыслящих”.

Мне кажется, ему не следовало бы так писать, не

зная лично меня и моих друзей. Меня связывает дружба, иногда долголетняя, со многими из тех, кто боролся и борется за гражданские права и свободу слова в нашей стране, и большинство моих друзей уже поплатились тюрьмой за это. Мои друзья никогда не сомневались во мне, как и я не сомневался в них. Я надеюсь, что г-н Брэдшер написал эту фразу сгоряча, желая во что бы то ни стало обосновать свои подозрения, и теперь сам в ней раскаивается.

Но, действительно, я никогда не подписывал никаких коллективных протестов или просьб, обращенных большей частью к советским властям, никогда не входил ни в какую “группу инакомыслящих” и не выдавал себя за принадлежащего к ней, хотя я отношусь с большим уважением к этим людям, дружен со многими из них, разделяю их цели и стараюсь быть полезен им.

Когда в маленькой рязанской деревне я заканчивал свою книгу, глядя в окно, как под мелким дождем понуро пасутся козы, я не знал, будет ли она вообще напечатана, и тем более не мог предвидеть, что она привлечет к себе столько внимания. Но раз уж это произошло, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Мне с детства был органически чужд режим, при котором я вынужден был жить, его культура казалась мне убогой, идеология фальшивой, а навязанный моим согражданам образ жизни – унижительным. Я индивидуалист по натуре, и мой протест всегда был личным протестом. Я всегда сам хотел

отстоять свое человеческое достоинство и право быть свободным. Но я не хочу быть понят так, что я всегда думал только о себе. Я хотел бы – и, может быть, мой пример помогает этому – чтобы каждый мой соотечественник тоже почувствовал значимость собственной личности. Только тогда, я думаю, возможна борьба за общие интересы. Потому что борьба за “общие интересы” людей с рабской психологией может привести и приводит только к общему рабству.

Поэтому я надеюсь, что меня поймут в Америке, стране, созданной свободолюбивыми индивидуалистами, приехавшими со всех концов света. Я надеюсь, что лучшим ответом на кривотолки вокруг моих книг и на прямую клевету на меня будут мои книги, прочитанные не между строк, а так, как я их написал.

Но если все же этот слух засядет в голове читателей моих книг, я смогу, по крайней мере, находить утешение в старой русской пословице “хорошая слава под камушком лежит, а дурная по дорожке бежит”.

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА “ШПИГЕЛЬ”

Господин редактор!

Я прочел в номере Вашего журнала от 16.3.1970 статью обо мне, не подписанную, и, по-видимому, выражающую таким образом мнение Вашего журнала.

Меня очень удивило, что Вы, не приводя никаких конкретных доказательств, пытаетесь создать у своих читателей впечатление, что моя книга “Существует ли СССР до 1984 года?” написана в сотрудничестве с КГБ. Подобные слухи, насколько мне известно, появились впервые в американской газете “Вашингтон Ивнинг Стар” в ноябре прошлого года. Я написал подробное опровержение, которое было опубликовано в нескольких американских и английских газетах и о котором Вы, повторяя некоторые аргументы “Стар”, ни словом не упоминаете.

Поэтому я не буду вновь опровергать повторяемые Вами оскорбительные намеки, что мое возвращение из ссылки, а также публикация некоторых моих статей Агентством печати Новости, штатным сотрудником которого я отнюдь не был, имеют какое-то отношение к КГБ. Они имеют к КГБ только то отношение, что в 1965 году КГБ устроил мою

ссылку в Сибирь, а в 1968 положил конец моей журналистской работе для АПН и других советских издательств.

Все же на некоторые Ваши утверждения я считаю нужным ответить, поскольку думаю, что они продиктованы не злонамеренностью, а просто полным непониманием условий русской жизни.

Так, не только оскорбительны, но и просто бессмысленны Ваши сравнения меня с Гапоном и Малиновским или Ваши намеки на то, что цель моих критических высказываний о русском народе – поссорить народ с демократической оппозицией.

В отличие от Гапона и Малиновского, я не являюсь членом никакой организации, никого не провоцирую на совместные выступления и выражаю только свои собственные взгляды, отнюдь не выдавая их за взгляды демократической оппозиции. Что же касается моих резких отзывов о русской истории и русском народе, то я делаю их потому, что я сам русский и считаю, что сейчас моя страна гораздо более нуждается в самокритике, чем в самовосхвалении.

Так же я не совсем понимаю, почему Вы утверждаете, что моя книга написана для западных читателей и не распространяется в самиздате. Я издал книгу сначала на Западе, а уже потом пустил ее в самиздат, чтобы избежать недобросовестных и не зависящих от моей воли публикаций. Но уже с конца прошлого года она получила необычайно широкое распространение в самиздате.

Еще более бессмысленно и оскорбительно уже не для меня лично, но для всей независимой русской литературы, цитируемое и, по-видимому, разделяемое Вами утверждение г-жи Бронской-Пампук, что пересылка русского самиздата за рубеж контролируется или даже осуществляется органами КГБ. Кроме моих книг, за последние годы на Западе были опубликованы романы Александра Солженицына, воспоминания Анатолия Марченко, стихи Натальи Горбаневской, статьи академика Сахарова и генерала Григоренко, документальные отчеты о политических процессах, составленные Павлом Литвиновым, и многое другое – неужели Вы всерьез думаете, что все это было подготовлено или переправлено на Запад по инициативе КГБ ?

Действительно, КГБ пытался передавать некоторые рукописи, но только в тех случаях, когда это шло вразрез с намерениями автора или могло повредить ему, как это было с “Пиром победителей” Александра Солженицына или дневником Светланы Аллилуевой. Делать отсюда такие широкие выводы просто недобросовестно.

Я полагаю, что КГБ вообще не заслуживает той восторженной характеристики, какую Вы даете ему в своей статье. Хотя Комитет государственной безопасности и является более оперативной и динамичной организацией, чем, допустим, Комитет труда и заработной платы, – все же он часть окостенелой бюрократической системы, принципами ко-

торой он руководствуется. (Вы пишете, что я не отношу КГБ к критикуемой мной “бюрократической элите”, которую он только снабжает информацией. Безусловно, снабжение элиты информацией о настроениях страны лежит, главным образом, на аппарате КГБ, но отсюда никак не следует, что верхушка КГБ не принадлежит к этой элите. Не преуменьшая роли КГБ в советской системе – роли, полностью известной только очень немногим, – хочу все же заметить, что это уже не та исключительная роль, которую тайная полиция играла при Сталине).

Вполне возможно далее, что в КГБ, как Вы пишете, сейчас работают и высокообразованные, хорошо информированные молодые люди, у которых “нет иллюзий”. Однако неуклюжие провокации с участием Виктора Луи, о котором Вы также упоминаете, не говорят о “высоком интеллектуализме” КГБ. Для КГБ слишком много чести, чтобы с ним сотрудничали такие люди, как я.

Я думаю, что слухи, что я агент КГБ, распускает сам КГБ, быть может, частью через своих людей в русских эмигрантских организациях на Западе. И цель этих слухов – не только опорочить меня лично и тем самым помешать успеху моей книги, неудобной бюрократическому режиму, но и создать рекламу самому КГБ – как организации, которая все знает и всем управляет.

Эти слухи, бесспорно, могут иметь успех среди тех, чье мышление воспитано на преклонении перед ор-

ганизацией (будь то нация, партия или полиция) и на пренебрежении к индивидуализму и человеческой личности.

Эти слухи пытаются подтвердить тем, что я до сих пор не арестован. Я могу только повторить то, что я уже говорил.

После пропагандистской неудачи с судом над Синявским и Даниэлем власти не хотят громких процессов над писателями, чтобы не привлекать внимания к их книгам и не производить в мире дурное впечатление своей жестокостью. Я не единственный советский писатель, кто публикуется за границей и тем не менее находится на свободе. Власти более заинтересованы сейчас в слухах, что я агент КГБ, чем в моем аресте. Но я думаю, что как только интерес ко мне и к моим книгам на Западе упадет, я буду арестован и судим по какому-нибудь сфальсифицированному делу, причем на суде даже не упомянут о моих книгах. Конечно, со мной могут поступить и иначе.

Пока же я действительно пользуюсь большей свободой, чем многие советские граждане. Но этой свободой я обязан себе самому. *Я хочу быть свободным* – именно поэтому я поступаю, как может и должен делать любой свободный человек, – издаю книги под своей фамилией и хочу пользоваться всеми авторскими правами. Даже в тюрьме, если меня посадят в тюрьму, я надеюсь остаться более свободным, чем миллионы моих и Ваших соотечественников, которые “на свободе” кричали ура

Сталину и Гитлеру и верили во всемогущество созданных ими организаций.

Я надеюсь, что Вы полностью опубликуете мое письмо в Вашем журнале.

2 апреля 1970

ИНОСТРАННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ В МОСКВЕ

Жена одного американского корреспондента в Москве пригласила в гости молодого русского друга. В воротах дома их остановил милиционер. – Вы – проходите! – сказал он, обращаясь к американке. – А вы, – он дернул за руку русского, – поворачивайте назад!

Американка пыталась протестовать, но молодой человек сразу же с испуганным лицом зашагал прочь.

– Почему же вы не пожаловались на этого милиционера? – спросил я жену корреспондента, когда она рассказала мне эту историю.

– Кому же жаловаться?! – ответила она. Отдел печати МИД и так постоянно предупреждает нас, чтобы мы не общались ни с кем из русских, кроме официальных лиц.

Этот маленький эпизод, пожалуй, очень характерен для положения иностранных корреспондентов в Москве и для того, как они сами к нему относятся. Хотя понятие “железный занавес” и выглядит сейчас устаревшим, власти все же пытаются полностью изолировать иностранных корреспондентов в Москве от советских граждан. Такое положение существовало и раньше, но особенно реши-

тельно стали добиваться изоляции с тех пор, как в стране началось независимое общественное движение. Ясно, что весь мир, – а вслед за ним и СССР из западных радиопередач – мог узнать об этом движении только из сообщений западных корреспондентов в Москве, поскольку ни ТАСС, ни другие советские органы этого делать бы не стали. Но, конечно, дело не только в общественном движении: вообще человек, изолированный от местного населения, меньше понимает, что происходит в стране.

Изоляция достигается прежде всего поселением корреспондентов в специальных домах для иностранцев, куда затруднен доступ советским гражданам, созданием специальных учреждений по обслуживанию иностранцев, установлением микрофонов в квартирах корреспондентов, слежкой за ними, которая очень беспокоит не привыкших к этому людей, системой официальных и неофициальных предупреждений, высылкой из страны, а также общей атмосферой страха и неопределенности, которую особенно болезненно воспринимают люди, прибывшие из демократических стран. В частности, многие из тех, кто пускается в преувеличенные рассуждения о “либерализации и демократизации” советского общества, склонны также преувеличивать угрозу для себя лично.

О своем положении в Москве, по-видимому, писали сами иностранные корреспонденты, но, быть может, представляет интерес и оценка стороннего на-

блюдателя, прежде всего оценка, как ведут себя корреспонденты в подобной ситуации.

Очевидно, есть два пути: или все же искать какие-то контакты с русскими, искать какую-то информацию, кроме официальной или же полностью принять статус, который то твердой, то мягкой рукой навязывают корреспондентам московские власти. За семь лет постоянного общения с иностранными корреспондентами у меня сложилось впечатление, что большинство из них проявляет готовность подчиниться навязанным им условиям.

Что Делают

Поскольку подчинившийся корреспондент не занят никакой репортерской работой по сбору фактов, не чувствует и не понимает общую атмосферу, вращаясь только в узком мирке себе подобных, не знает русской истории и обычаев, а большей частью и русского языка, то его работа сводится к следующему:

советский переводчик, которого он сам считает агентом КГБ, переводит или пересказывает ему содержание “Правды” или “Красной звезды” – это “официальная точка зрения” на какое-либо событие;

затем он беседует со своим соседом по этажу, таким же, как он сам, – это мнение “обозревателей”; в некоторых особо важных случаях спрашивает

своего шофера или домработницу – это мнение “человека с улицы”.

Остается только перетолковать содержание заметки в “Правде” в терминах западной журналистики и в духе общих мест о “либерализации” или, наоборот, о “возрождении сталинизма”. Так появляются бессодержательные, но полные мнимой многозначительности статьи об “экономических реформах” или о “ястребах и голубях в Кремле”, которые с таким же успехом могли быть написаны в Лондоне или Нью-Йорке, как и в Москве. Но, быть может, этикетка “от московского корреспондента” придает им очарование известия с места события и поднимает престиж газеты.

В дальнейшем такой корреспондент, за три или четыре года пребывания в России не выучивший ни одного русского слова и не поговоривший ни с одним русским, возвращается в свою страну и котируется там уже как “знаток России”. Он может писать очень враждебные или очень благожелательные советскому режиму статьи, но во всех случаях они способны только дезориентировать читателя, потому что их автор мало что знает и еще меньше понимает.

Риск

Сейчас все больше советских граждан тяготеют своей изоляцией от остального мира и сами ищут каких-то контактов с иностранцами, в том числе и

с иностранными корреспондентами. Но эти попытки “прорвать блокаду” натываются не только на противодействие КГБ, но и на предубеждение самих корреспондентов, что каждый русский, кто хочет общаться с ними, – явный или тайный агент КГБ. Эта “шпиономания” имеет, может быть, три причины: во-первых, корреспондентам могут действительно подсылать агентов; во-вторых, им может казаться странным, как это какие-то русские не побоятся встретиться с ними, когда они сами при гораздо меньшей степени личного риска боятся этого; и, наконец, она может служить хорошим оправданием собственного положения, когда корреспондент, не снимая домашних туфель, переходит из своей квартиры на втором этаже в контору на третьем посмотреть на надежные телетайпы ТАСС, вместо того, чтобы ехать куда-то к сомнительным русским друзьям.

Однако, ведя этот идиллический образ жизни, такой корреспондент почему-то считает себя чуть ли не Джеймсом Бондом, ежеминутно подвергающимся страшному риску. Этот “риск” по большей части воображаемый. Нет никакого закона, который запрещал бы общение советских граждан с иностранцами, и как бы косо власть ни смотрела на это, она вынуждена мириться с такими случаями, когда они происходят. По существу, единственный путь препятствовать этому – это шантаж, но подчиняться шантажу дело уже добровольное, а не обязательное.

Некорректность

Иногда такие корреспонденты все же вступают в контакт с советскими гражданами и даже ищут контакты с ними. К сожалению, при этом они не всегда проявляют достаточную корректность.

После суда над Гинзбургом и Галансковым мать Гинзбурга и жена Галанскова договорились с несколькими иностранными корреспондентами о встрече у Л. И. Гинзбург с тем, чтобы рассказать о ходе процесса. Однако в назначенное время никто не пришел, вместо этого дом Л. И. Гинзбург был окружен агентами КГБ, и две женщины оказались как бы в осаде.

Как выяснилось позднее, Отдел печати МИД, узнав от корреспондентов о встрече, категорически запретил кому-либо из них ехать к Л. И. Гинзбург. Отдел печати МИД сослался при этом не на какой-нибудь закон или инструкцию, а просто на то, что тот, кто поедет, “будет иметь крупные неприятности”. Этого оказалось достаточно не только для того, чтобы корреспонденты не приехали, но и для того, чтобы никто из обещавших приехать не предупредил Гинзбург и Галанскову.

Между тем двум женщинам, которые ничего этого не знали, КГБ устроил провокацию; сначала их пытались выманить из дома якобы для встречи с корреспондентами на улице, чтобы обвинить потом их в устройстве незаконного уличного сборища: когда же это не удалось, к ним явился под видом ино-

странного корреспондента агент КГБ Василий Грицан. Если бы кто-то из иностранных корреспондентов из соображений элементарной порядочности предупредил их по телефону, что никто не придет, это избавило бы обеих женщин от действительной, а не мнимой опасности.

Несколько корреспондентов, которых Отдел печати МИД не успел оповестить о запрете, все же приехали к дому Гинзбург. Их не подпустили близко агенты КГБ, сказав, чтобы они возвращались в свои конторы и искали в почтовых ящиках запоздавшее запрещение. Среди них было трое шведских корреспондентов, которых агент сурово спросил: уж не на пресс-конференцию ли Гинзбург они приехали? На что испуганные шведы ответили: “Нет, нет, мы здесь просто гуляем”.

Возможно, им самим этот ответ показался необычайно ловким. Но мне он кажется более подходящим для напроказившего школьника, которого спрашивает учитель, чем для взрослого человека, чье право и чей долг как журналиста быть на той пресс-конференции, которая представляет интерес для его читателей.

Кто Дирижирует

Накануне последних выборов в Моссовет, гуляя по Арбату, я мог видеть на стенах многих домов портрет малоинтеллигентного человека с грубым и свирепым выражением лица – это был Леонид За-

мятин, официальный и единственный кандидат от нашего района.

Так я узнал, как по крайней мере выглядит тот, чьё имя всегда произносится корреспондентами со страхом и благоговением, как евреями имя Божие.

Г-н Замятин возглавляет Отдел печати МИД, о котором я уже упоминал и который надзирает за работой иностранных корреспондентов в Москве. Главным образом этот надзор, а соответственно и отношение к корреспонденту касаются того, что он пишет, но также и того, с кем он общается и куда ходит.

Есть несколько градаций давления на неугодного корреспондента. Например, можно причинять ему разные житейские неудобства. Так, корреспонденту, который живет в гостинице, могут сказать, что он должен изменить тон своих статей, если хочет скорее получить квартиру. Корреспонденту могут затруднить доступ к информации, откажут во встрече с каким-нибудь официальным писателем или артистом, или не разрешат выехать в другой город. О нем могут критически отозваться в “Правде” или “Известиях”. Его могут вызвать в Отдел печати МИД и сделать предупреждение. Могут сказать просто: не пишите о том-то, это явление не характерно для нашей жизни, а вы должны быть объективны, или: не встречайтесь с тем-то, это человек с темным прошлым. Но могут сделать и “официальное предупреждение” – и если коррес-

пондент им пренебрежет, может последовать высылка. И даже угроза закрытия московского бюро газеты или агентства.

Предупреждения такого рода могут быть очень грубы и прямолинейны. Так, Анатолий Шуб, корреспондент “Вашингтон Пост”, в своей статье упомянул, что его “русский друг” собирается написать книжку “Просуществует ли СССР до 1980 года?” и изложил некоторые взгляды своего друга. “Никакой советский человек не мог так сказать! Ваш ‘русский друг’ – это бутылка водки, с которой вы беседовали, предварительно ее осушив! – заявили Шубу в Отделе печати. – Если вы еще напишете что-нибудь подобное, вы будете высланы из Москвы!”. В действительности этим “русским другом” был я, и через несколько месяцев вышла моя книжка “Просуществует ли СССР до 1984 года”?

Но предупреждения могут делаться и окольным путем. Например, корреспондент “Стампы” Эннио Каретти получил от своей редакции указание писать не очень резко о Советском Союзе, поскольку советский посол в Риме жаловался на него руководителем “Фиата”. Как известно, “Стампа” финансируется “Фиатом”, а “Фиат” строит для СССР автомобильный завод на Волге.

Следует сказать, что оба эти предупреждения не были пустым звуком, поскольку впоследствии и г-н Шуб и г-н Каретти были высланы из СССР.

Неопределенность

Иногда корреспонденты пытаются выяснить, на каком основании Отдел печати делает те или иные запрещения или указания. Им отвечают, что есть специальная инструкция, которую, впрочем, никому не показывают. Вполне возможно, что Отделу печати периодически “спускают”, как у нас говорят, разного рода служебные инструкции, но они имеют обязательный характер только для самого Отдела печати, но никак не для корреспондентов. В действительности нет никакого официально утвержденного и опубликованного положения об иностранных корреспондентах, которое определяло бы их права и обязанности здесь. Власти, по-видимому, очень устраивает это неопределенное состояние, при котором они могут делать то, что хотят. Корреспонденты же пытаются приспособиться к этому, исходя из собственного разума, присущей каждому доли храбрости, а также из того, как “поступают другие”. При этом, конечно, возможна некоторая путаница.

Так, одни считают, что можно ездить в гости к русским, но лучше не звать их к себе. Другие, наоборот, что звать к себе можно, но ездить лучше не стоит. Одни считают, что можно смело критиковать режим, но при этом лучше не выходить за стены своей конторы. Другие, что нужно писать благожелательно, тогда дадут возможность гораздо больше увидеть. Основная же тенденция – чем

меньше делаешь, тем легче жить – вступает в некоторое противоречие с профессиональными обязанностями журналиста.

Как я понял из бесед с журналистами, многие из них сами сознают ненормальность своего положения в Москве. Тем не менее, почти никто не хочет как-то отстаивать свои права, полагая, что это еще более может разозлить советские власти. У иностранных корреспондентов в Москве до сих пор нет своего объединения или клуба, и они вообще лишены какого-либо понятия о корпоративности. Как правило, конфликт какого-либо корреспондента с властями не только не вызывает желания сообща выступить в защиту – не самого даже журналиста, а попираемых профессиональных прав, – но иногда даже вызывает у некоторых злорадное удовлетворение: я же говорил, что надо быть осторожнее, я же вот ничего не писал и не делал – меня и не высылают.

Такая разобщенность показывает, как быстро люди, попадая в условия тоталитарного режима, принимают его правила, ибо основное правило любого такого режима – иметь с каждым дело в одиночку. Ничего так не боится тоталитаризм, как общего противодействия. Я не хочу быть понят так, что я призываю западных корреспондентов чуть ли не к борьбе с советским режимом, а имею в виду только совместное отстаивание ими своих профессиональных прав в рамках существующих советских законов.

Впрочем, чтобы быть объективным, следует сказать, что был случай, когда западные корреспонденты выступили *in corpore* в защиту своих прав. Это произошло, когда им запретили заказывать продукты за границей.

Шантаж

И Отдел печати МИД, и КГБ, как я уже сказал, управляют иностранными корреспондентами в Москве не на основе законов, а исходя из соображений текущего момента и действуя методами шантажа. И естественно, что шантаж тем успешнее, чем охотнее готовность ему подчиниться, и может оказаться безрезультатным, если ему оказывают противодействие. Известно, что некоторые журналисты, проявившие достаточную твердость и благоразумие, не дали себя запугать и своими объективными статьями прояснили для западного мира положение в СССР. Правда, часть из них была выслана, но отнюдь не все. И если бы остальные журналисты отрицательно отнеслись к подобным высылкам и предупреждениям, а иностранные правительства ставили бы советских корреспондентов у себя в равное положение, то это коренным образом изменило бы положение корреспондентского корпуса в Москве.

Естественно, что настоящее положение не могло бы существовать без прямой коллаборации некоторых корреспондентов с советскими властями, что может принимать разные формы.

Умолчание

Обычно власти стремятся не продлевать корреспонденту визу на более, чем 3-х или 4-летний срок, понимая, что чем дольше он остается здесь, тем лучше начинает понимать ситуацию и тем труднее его обмануть. Тем не менее, в Москве есть несколько корреспондентов, срок пребывания которых исчисляется уже не годами, а десятилетиями, и кому не препятствуют свободно общаться с русскими.

Один из них – Генри Шапиро, глава московского бюро ЮПИ. Живя в России со времен Сталина, он считается знатоком русской жизни; он, например, один из немногих корреспондентов, кто знал, что Павел Литвинов, протестовавший против политических процессов, – внук, а не сын Максима Литвинова, наркома иностранных дел.

Однако, когда тот же г-н Шапиро получил копию письма председателя колхоза Ивана Яхимовича к Суслову, в котором тот поддерживал Литвинова, он отказался что-либо сообщать об этом своему агентству, заявив, что никакой председатель колхоза не мог написать такое письмо и что его, по всей вероятности, подделал сам П. Литвинов. Между тем о Яхимовиче еще за год до этого писали в советской печати; до своего ареста в 1969 г. он сделал еще несколько публичных заявлений, его самого видели иностранные корреспонденты, когда он вместе с генералом Григоренко посещал чехословацкое посольство в Москве.

Если бы дело ограничилось г-ном Шапиро, то никто и не узнал бы о Яхимовиче. Между тем, тот факт, что в поддержку Литвинова выступил даже представитель местных партийных кадров, имеет большое значение для понимания общественных процессов в нашей стране.

То же самое произошло и с известной статьей “отца советской водородной бомбы” академика Сахарова. Когда г-н Шапиро получил и просмотрел копию статьи, он тут же спрятал ее в стол и сказал, что не нужно говорить об этой статье ни слова, иначе можно нажать крупные неприятности. Все же “Размышления о прогрессе” Сахарова стали известны всему миру. Сначала сокращенный текст статьи передал в газету “Хет Парол” ее московский корреспондент г-н Ван хет Реве, а затем полный текст появился в “Нью-Йорк Таймс”. Известно, какое большое значение на Западе придали выступлению Сахарова. Но если бы все корреспонденты поступали, как г-н Шапиро, о нем бы до сих пор никто не знал.

К счастью, г-н Камм и г-н Андерсон, бывшие в то время корреспондентами “Нью-Йорк Таймс” в Москве, поступили в соответствии с профессиональным долгом журналиста и считали нужным передавать тот материал, который они находили интересным, а не тот, который выглядел безобидным. Однако нынешний глава московского бюро “Нью-Йорк Таймс” Бернард Гвертцман предпочел занять позицию г-на Шапиро.

Так, став свидетелем обыска, который у меня делал КГБ, он ни слова никому не сообщил об этом, также он отказался что-либо сообщить в свою газету о моем письме Подгорному, где я пишу, какими методами действует против меня КГБ. Я не хотел бы, чтобы это было понято как личный упрек г-ну Гвертцману, который, безусловно, не обязан что-либо обо мне писать. Однако его газета ранее несколько раз писала обо мне и задавалась вопросом, почему КГБ не трогает меня, и с этой точки зрения объективному журналисту следовало бы написать об этом факте.

Это вовсе не единичный случай. Так, г-н Гвертцман отказался сообщить своей газете об обращении жены Григоренко к мировому общественному мнению и о дневнике генерала, который тому удалось с огромным трудом переправить на волю из Ташкентской тюрьмы. Между тем, этот дневник, где он описывает свой арест, пребывание в тюрьме, голодовку, избиения, психиатрические экспертизы — человеческий документ огромной важности.

Точно так же г-н Гвертцман отказался информировать свою газету о письме 20 ленинградских евреев, в котором они осуждали антиизраильскую кампанию в советской печати и заявляли о своем желании выехать в Израиль. Это письмо появилось сразу же за аналогичным заявлением 40 московских евреев, и другие газеты и агентства позднее сообщили о нем. Возможно, что это сообщение попало и в “Нью-Йорк Таймс”, но если бы это зависело

от г-на Гвертцмана, мировая общественность никогда не узнала бы об этом письме.

Умолчание может переходить и в прямое искажение фактов. Так, г-н Шапиро после несостоявшейся пресс-конференции Гинзбург и Галансковой сообщил, что есть Указ 1947 г., запрещающий иностранцам общение с советскими гражданами. В действительности этот Указ, давно уже не действующий, устанавливает порядок сношения официальных советских учреждений с соответствующими учреждениями других стран. Этой передержкой г-н Шапиро стремился ввести в заблуждение других корреспондентов и оправдать незаконные действия Отдела печати МИДа.

Вознаграждение

Естественно, что такое “хорошее поведение” заслуживает награды – и власти делают это. Прежде всего это касается доступа к той или иной информации. Известно, что сообщение о запуске очередного спутника или об иной официальной акции г-н Шапиро получает иногда на полчаса, а то и на несколько часов раньше, чем многие остальные корреспонденты. Или, например, корреспондент английской газеты “Ивнинг Ньюс” Виктор Луи, об особых отношениях которого с советскими властями много уже писали, сидя у себя на даче в 30 км от Москвы, мог узнать о приговоре по делу Гинз-

бурга и Галанскова раньше, чем журналисты, которые стояли у входа в зал суда.

Очень часто подобные умолчания и искажения объясняют высокими интересами своей газеты или агентства, опасениями, как бы власти вообще не закрыли московское бюро. По-видимому, в этом есть известная логика, но вся проблема в том, где провести разумную грань. Ведь если бюро будет передавать только передовицы “Правды”, как хотелось бы властям, в нем тоже не будет смысла. Глава московского бюро Ассошиэйтед Пресс г-н Баусман, например, запретил одному из своих сотрудников встречаться с видным участником демократического движения Петром Якиром, поскольку власти косо смотрят на подобные встречи. Но что же Ассошиэйтед Пресс, следуя такой линии, сможет сообщить своим читателям об общественном движении в СССР?

Чем больше такой глава бюро начнет уступать, тем больше от него начнут требовать. Отдел печати МИД делает подчас гораздо более резкие предупреждения тем корреспондентам, которые у него “на хорошем счету”. Тот же г-н Шапиро был единственным корреспондентом, который получил предупреждение за то, что его видели у здания, где происходил суд над Павлом Литвиновым. А ведь г-н Шапиро был там не более 5–10-ти минут, тогда как маленькое слушание “своего” может вызвать большее недовольство, чем более смелое поведение независимого корреспондента. Однако зависимость

иностранного корреспондента может иметь и более осязаемые причины, а сотрудничество принимать иные формы.

Деньги

Несколько лет назад я добивался от советских властей разрешения пожертвовать гонорар за книгу моего покойного отца в пользу Флоренции, пострадавшей в 1966 г. от наводнения. Трудности заключались в том, что власти не хотели переводить советские рубли в итальянские лиры, поскольку такой перевод был им очень невыгоден. Желая все же добиться своего, я решил привлечь к этому внимание итальянской общественности и обратился к московскому корреспонденту газеты “Унита” Адриано Гверра с просьбой опубликовать заметку о моем деле.

– Чего же вы хотите? – искренно удивился г-н Гверра: – Ведь советское правительство не может менять рубли на валюту, это крайне невыгодно. Я сам получаю только триста валютных рублей в год, а остальное советскими рублями.

Я не мог сразу понять в чем дело, почему итальянская газета платит своему корреспонденту советскими рублями. Но г-н Гверра, желая вызвать мое сочувствие тому, что он получает так мало в валюте, объяснил, что платит ему не газета, а советское правительство, которое не жалеет советских рублей, но скупится на валюту.

Я был поражен не столько даже тем, что советское

правительство содержит иностранного корреспондента, а тем, что тот сам сообщает об этом с такой легкостью и предлагает мне посочувствовать, что ему мало платят. Я мог только ответить, что советую ему из коммунистической “Униты” перейти в буржуазную “Корьере делла Сера”, которая, очевидно, сама будет платить ему в лирах. Далее говорить о моем деле, как я понял, было бесполезно. Через несколько дней я говорил о своем деле с секретарем Общества советско-итальянской дружбы г-ном Старковым. Он также сослался на трудность обмена рублей на валюту, поскольку государство наше очень нуждается в валюте.

– Это все же не мешает платить часть жалованья корреспонденту “Униты” в валюте, – сказал я. “Ну, – возразил Старков, – вы неправильно называете это жалованьем, это скорее помощь”. И желая доказать свое превосходство в этом терминологическом споре, добавил: “Я хорошо это знаю, поскольку я сам раньше давал эти деньги в конверте прежнему корреспонденту”.

Впоследствии я решил посмотреть, что пишет в “Уните” корреспондент, получающий валюту в конверте. В 1969 г., например, когда в советской печати было запрещено даже упоминать “культ личности”, он писал, что “в СССР на страницах печати дискуссия о сталинизме сильна, как никогда”, а в 1970 г. двух молодых итальянцев, которые устроили демонстрацию в защиту коммуниста Григоренко, назвал “членами профашистской организации”.

Агент

В ноябре 1968 г. сотрудник АПН Борис Алексеев возвратил мне заказанные ранее агентством статьи и сказал, что никаких дел со мной АПН больше иметь не будет, поскольку они получили такое указание от КГБ.

Тем не менее, весной следующего года мне позвонил человек, который назвался Эннио Люконом, корреспондентом французской газеты “Пари-жур”, и сказал, что он звонит из АПН и что ему рекомендовал встретиться со мной Борис Алексеев, как с человеком, который хорошо знает неофициальных московских художников. Я немного удивился, но предложил ему приехать через несколько дней.

Г-н Люкон оказался человеком лет сорока, с рыскающими глазами, обильной жестикуляцией и торопливой речью. Он сообщил, что договорился с одним французским издательством написать книжку о современной русской живописи, должен уже сдать ее через месяц, но у него нет почти никаких материалов, и он хотел бы купить их у меня.

Я ответил, что не буду продавать ничего ему лично, но мог бы заключить какой-то формальный договор с его издательством.

– Да нет, давайте прямо со мной, – горячо убеждал меня г-н Люкон, – вы получите много-много долларов, и все останется между нами.

Я сказал, что именно этого хотел бы избежать, но если издательство по рекомендации Люкона заклю-

чит со мной договор, я предоставлю материалы и напишу некоторые разделы книги, и мы выступим как соавторы. При этом я показал часть своих материалов.

Г-н Люкон сообщил, что зайдет еще и принесет свои материалы по русской живописи. Этими “материалами” оказались преимущественно фотографии самого г-на Люкона, на которых он был снят вместе с Софией Лорен и Марчелло Мастоаянни, что, по его словам, должно было свидетельствовать, что он порядочный человек.

Я сказал, что все это прекрасно, но имеет только косвенное отношение к русской живописи. Но о живописи разговора уже не было, вместо этого г-н Люкон показал мне статью Шуба, о которой я уже упоминал здесь, и спросил, знаком ли я с Шубом и не знаю ли, кто этот русский друг. Я ответил, что не знаю.

Тогда г-н Люкон спросил, не могу ли я собрать ему материалы для его новой книги, на этот раз о настроениях среди московских писателей, вновь обещающая мне “кучу долларов”. Это постоянное навязывание долларов беспокоило меня, поскольку я знал, – а г-н Люкон, давно живущий в России, тоже знал это, – что получение советскими гражданами валюты помимо официальных органов считается уголовным преступлением.

Я любезно сказал наконец г-ну Люкону, что ничего не хочу вместе с ним делать и писать. На некоторое время он исчез, а через несколько дней КГБ сделал

у меня обыск и изъял материалы о художниках, которые я показывал г-ну Люкону.

Тем не менее, через несколько месяцев я у себя в деревне получил от него письмо, где он предлагал издать мою книжку “Просуществует ли СССР до 1984 года?”, о которой якобы прочел в “Нью-Йорк Таймс”, а также хотел получить рукописи остальных моих книг. Он изъявлял также готовность приехать ко мне в деревню, хотя она находится в 170 км от Москвы, куда иностранцы не могут ездить без специального разрешения. Я ему ничего не ответил, однако, по возвращении моем в Москву, он тут же мне позвонил и начал домогаться новой встречи.

Все это очень характерно для той атмосферы, в которой живут в Москве иностранные корреспонденты.

Что Будет Дальше

Я вовсе не хочу создать впечатление, что *все* иностранные корреспонденты таковы, как Шапиро, Гвертцман или Люкон. Я не упоминаю здесь многих корреспондентов, заслуживающих самого высокого уважения своей объективностью, просто потому, что всякая моя похвала послужила бы для них самой дурной рекомендацией в глазах властей и затруднила бы их работу.

Однако общее положение не кажется мне нормальным. Власти ведут медленно, но настойчиво, работу по организации нужной им информации из

Москвы. И проигрывают от этого, прежде всего, западные читатели, которые получают неверную информацию о Советском Союзе. Для них, главным образом, я и писал эту статью.

ОТВЕТЫ КОРРЕСПОНДЕНТУ КОЛУМБИЯ БРОДКАСТИНГ СИСТЕМ

1.

Я думаю, были три главные причины, по которым я решил написать эту книгу и добиваться ее опубликования. Во-первых, это озабоченность судьбами моей страны. Уже несколько лет назад я начал задумываться о том, что мою страну в недалеком будущем поджидают катастрофы и дважды писал об этом в редакции русских газет в Москве, но получил самые бессодержательные ответы. И тогда я решил иначе предать гласности свои мысли. Во-вторых, поскольку, как я понимал, моя книга выйдет за границей, будет распространяться, главным образом, за границей, я ставил себе целью опровергнуть те ходячие и неверные представления о моей стране, которые распространены за границей, главным образом, в Соединенных Штатах Америки, т.е. о якобы происходящей либерализации советского режима. И, в-третьих, у меня была причина, которая есть у каждого автора, который пишет книгу, раз мне пришли в голову эти мысли, то, естественно, я хотел бы написать это. И, в действительности, как я думаю, происходит не либерализация режима, а его дряхление.

Либерализация предполагала бы, что режим со-

знательно проводит какие-то реформы. А в действительности, режим просто все более и более теряет контроль над положением в стране. Конечно, с точки зрения американцев, советский режим гораздо более контролирует свою страну, чем, скажем, американское правительство свою, но для тоталитарного режима – этот контроль уже недостаточен. Ну, как пример, я могу привести необычайно широкое распространение Самиздата, о чем я уже говорил, т.е. распространение в списках нецензурированной литературы.

Это происходит не потому, что режим либерально смотрит на эти вещи, или сознательно разрешает это, а просто потому, что режим не может справиться с этой проблемой, главным образом, потому, что необычайно возросло количество интеллигенции и необычайно повысилась роль интеллигенции в современном обществе и интеллигенция уже не может и не хочет довольствоваться скудной официальной литературой, которая им предлагается. Но это привожу просто как пример своим мыслям.

2.

Ну, я много общался с рабочими и с колхозниками и мне кажется, что они пока еще не задумываются об этом строе вообще, ну, кажется, раз так мы живем, так всегда было и так всегда будет. Но вместе с тем ощущается уже очень сильное недовольство многими частными сторонами этого строя. И это

может принимать самый разный характер: одни недовольны, что они получают крайне мало денег по сравнению с остальными, так что им невозможно жить, а другие недовольны тем, что они ничего не могут купить на те сравнительно большие деньги, которые они зарабатывают. Колхозники недовольны своим бесправным положением, тем, что они не могут покинуть деревни, рабочие недовольны своей полной зависимостью от заводской администрации, жители маленьких городов недовольны тем, что они не могут, не имеют права переехать в крупные города, тогда как в маленьких нет работы и постепенно у некоторых, во всяком случае, начинает складываться впечатление, что все эти частные проблемы имеют своей основой именно несовершенство того строя, при котором мы живем.

А до революции может довести крайняя неразумность высшего класса, которая избегает всяких перемен и который не позволяет обществу быть социально-мобильным, который стремится крайне сохранить и увековечить такое распадение нашего общества на замкнутые касты.

3.

Режиму для того, чтобы выглядеть привлекательным в глазах собственного народа все время необходимо представлять в каком-то отвратительном и плохом [свете] все остальные страны и прежде всего экономически развитые страны. И, надо ска-

зять, что довольно долго это... этот метод был эффективен, например, мне самому приходилось слышать от русских крестьян такие разговоры. Ну, вот у нас жить очень плохо, но мы-то, по крайней мере, можем каждый день есть картошку и иногда нам завозят керосин, а как же живут люди в капиталистических странах? Там, вероятно, совсем есть нечего! Но, надо сказать, что сейчас это...

4.

Я думаю, воспринимали люди по-разному – одни радовались этому как большой победе не только американцев, но, видимо, вообще всего человечества, а другие довольно болезненно это переживали, поскольку в течение десяти лет советскому народу внушали, что первым человеком на луне будет советский человек и это будет полным доказательством преимущества социализма.

5.

Да, это правда, я думаю, что это самое отвратительное, что делает этот режим, а вместе с тем, мне кажется, что это яркий пример полной идейной капитуляции режима перед своими противниками, раз режиму не остается ничего другого, как только объявить их сумасшедшими.

Я хорошо знаю нескольких людей, которые так помещены в психиатрические больницы – это... и

признаны, во всяком случае, признаны сейчас невменяемыми – это генерал Григоренко, это Иван Яхимович, то же самое угрожает сейчас Наталье Горбаневской и... я хочу сказать, что это совершенно нормальные и здравомыслящие люди и им уготована ужасная судьба находится среди настоящих сумасшедших людей, причем совершенно неопределенное время, поскольку срок заключения в тюремные психбольницы не... не ограничивается приговором суда.

Между тем я считаю, что никакое насилие не может существовать без тех, кто готов этому насилию подчиниться и если мы не хотим, чтоб в нашей стране господствовало насилие, то все должны бороться с этим, а не говорить просто, ну, этот режим плохой, мы страдаем и т.д. Режим плохой, но это не снимает с нас вины за то, что он плохой.

6.

Да, я не доволен этим строем, но это страна, в которой я родился и я надеюсь, что все-таки здесь со временем все изменится. Нет, я не хочу покидать эту страну. Другой вопрос, что, если может быть, до моего рождения я мог бы делать выбор – я предпочел бы родиться в другой стране.

[Весна 1970]

ОТВЕТ НА ВОПРОС, ПРИЗНАЮ ЛИ Я СЕБЯ ВИНОВНЫМ

Представленные мне обвинения касаются распространения мною устно и печатно взглядов, которые именуются здесь ложными и клеветническими. Ни данные мною интервью, ни мои статьи и книги я клеветническими не считаю.

Я думаю также, что истинность или ложность всяких публично высказанных взглядов может выясниться свободным и открытым обсуждением, но не судебным следствием. Никакой уголовный суд не имеет морального права судить кого-либо за высказанные им взгляды. Противопоставление идеям, все равно, истинны они или ложны, судебного уголовного наказания само по себе кажется мне преступлением.

Эта точка зрения не только естественна для каждого, кто имеет свои взгляды и нуждается в творческой свободе, она также находит свое правовое выражение как в Конституции СССР (ст. 125), так и во Всеобщей Декларации прав человека, которую обещали проводить в жизнь все подписавшие ее страны.

Таким образом, как человек, которому необходима творческая свобода, и как гражданин страны, подписавшей Всеобщую Декларацию прав человека, я считаю, что этот суд не вправе судить меня, по-

этому я не буду входить с судом ни в какое обсуждение моих взглядов, не буду давать никаких показаний и не буду отвечать ни на какие вопросы суда. Я не признаю себя виновным в распространении “лжи и клеветнических измышлений”, и не буду доказывать здесь свою невинность, поскольку сам принцип свободы слова исключает вопрос о моей вине.

Если в ходе процесса я захочу что-либо еще добавить к сказанному, я воспользуюсь представленным мне правом последнего слова.

12.XI.70 г.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Судебные преследования людей за высказывания или взгляды напоминают мне средневековые с его “процессами ведьм” и индексами запрещенных книг. Но если средневековую борьбу с еретическими идеями можно было отчасти объяснить религиозным фанатизмом, то все, происходящее сейчас – только трусостью режима, который усматривает опасность в распространении всякой мысли, всякой идеи, чуждой бюрократическим верхам.

Эти люди понимают, что поначалу развалу любого режима всегда предшествует его идеологическая капитуляция. Но, разглагольствуя об идеологической борьбе, они в действительности могут противопоставить идеям только угрозу уголовного преследования. Сознавая свою идейную беспомощность, в страхе цепляются за уголовный кодекс, тюрьмы, лагеря, психиатрические больницы.

Именно страх перед высказанными мною мыслями, перед теми фактами, которые я привожу в своих книгах, заставляет этих людей сажать меня на скамью подсудимых как уголовного преступника. Этот страх доходит до того, что меня даже побоялись судить в Москве и привезли сюда, рассчитывая, что здесь суд надо мной привлечет меньше внимания. Но все эти проявления страха как раз лучше всего доказывают силу и правоту моих взглядов. Мои

книги не станут хуже от тех бранных эпитетов, какими их здесь наградили. Высказанные мною взгляды не станут менее верными, если я буду заключен за них на несколько лет в тюрьму. Напротив, это может придать моим убеждениям только большую силу. Уловка, что судят не за убеждения, а за их распространение, представляется мне пустой софистикой, поскольку убеждение, которое ни в чем себя не проявляет, не есть настоящее убеждение.

Как я уже сказал, я не буду входить здесь в обсуждение своих взглядов, поскольку суд не место для этого. Я хочу только ответить на утверждение, что некоторые мои высказывания якобы направлены против моего народа и моей страны. Мне кажется, что сейчас главная задача моей страны – это сбросить с себя груз тяжелого прошлого, для чего ей необходима прежде всего критика, а не славословие. Я думаю, что я лучший патриот, чем те, кто, громко разглагольствуя о любви к родине, под любовью к родине подразумевает любовь к своим привилегиям.

Ни проводимая режимом “охота за ведьмами”, ни ее частный пример – этот суд – не вызывают у меня ни малейшего уважения, ни даже страха. Я понимаю впрочем, что подобные суды рассчитаны на то, чтобы запугать многих, и многие будут запуганы – и все же, я думаю, что начавшийся процесс идейного раскрепощения необратим.

Никаких просьб к суду у меня нет.

12.XI.70 г.

**В РЕДАКЦИЮ “ХРОНИКИ ТЕКУЩИХ
СОБЫТИЙ” (МОСКВА)
В РЕДАКЦИЮ “ТАЙМС” (ЛОНДОН)**

Уважаемые редакторы!

В связи с большим и разноречивым интересом, который вызвала как в нашей стране, так и за рубежом брошюра Андрея Амальрика “Просуществует ли СССР до 1984 года?”, я буду весьма благодарен вам, если вы опубликуете мое открытое письмо автору брошюры.

С уважением Петр Якир

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АНДРЕЮ АМАЛЬРИКУ

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Я с большим интересом прочел Вашу брошюру и, оставляя на будущее подробный разговор, хочу только вкратце сформулировать свое впечатление. Сама важность поднятых Вами вопросов удерживает от поспешной и категорической оценки.

Еще раз порадовался четкости, честности и беспристрастности Вашей позиции и смелости Вашего поступка – сам факт подобного выступления есть, несомненно, рискованный шаг в наших условиях, тем более сейчас.

Понимая и принимая жанр свободных размышлений, в котором Вы выступаете, я, тем не менее, почувствовал разницу между первой и второй частями Вашей брошюры.

Первая часть производит очень убедительное впечатление подробностью анализа, в сущности, пока единственного по широте охвата и систематизации анализа нашего общества. По моим наблюдениям, во многом так же ощущают наше время и сознают себя те, кого Вы называете “средним классом”.

Однако, полностью согласиться с некоторыми Вашими положениями я не могу. В частности, с оцен-

кой перспектив Демократического движения. Хотя сейчас его социальная база действительно очень узка, и само Движение поставлено в крайне тяжелые условия, провозглашенные им идеи начали широко распространяться по стране, и это есть начало необратимого процесса самоосвобождения.

Также я не согласен со слишком односторонней трактовкой Вами русского характера, но не собираюсь упрекать Вас в руссофобстве, как это делают некоторые самиздатовские критики Вашей брошюры. Источник подобных упреков я вижу именно в Вашем стремлении к беспристрастности.

Я сказал бы, что вторая часть Вашей брошюры менее убедительна, чем первая. Прогнозировать отношения между СССР и Китаем – попытка, действительно, менее основательная (незнание тайной дипломатии, невозможность представить себе особую атмосферу международных расчетов и сговоров и т.д.), чем анализировать психологию и идеологию Вашего общества, что Вам так удалось.

Ну и, наконец, к достоинствам Вашей брошюры хочу отнести хороший язык и стройность изложения Вашей мысли.

С уважением

Петр Якир

28 марта 1970 г. Москва

АНДРЕЙ АМАЛЬРИК КАК ПУБЛИЦИСТ

За десяток лет независимое слово в России пробежало несколько состояний. Первое завершилось свирепым приговором Синявскому и Даниэлю – писателям, перешагнувшим рамки дозволенного “советскому” литератору, передававшим свои произведения за рубеж и печатавшим их там под псевдонимом. КГБ, давно отвыкшему от настоящей работы, лишь сочинявшему заговоры за неимением таковых на протяжении десятков лет, пришлось потрудиться над разгадкой секрета их действительных имен. Радость от удачи была, видимо, столь велика, что поспешили незамедлительно привести в действие карательные органы. Суд и приговор попытались провести как большую кампанию устрашения. Власти и состоявшие при них литераторы утверждали, что недостойно, де, печататься тайно (т.е., собственно, избегая прямого контроля “органов”). Девственно нравственные люди вроде Аркадия Васильева или Чаковского просто задыхались наигранным гневом. Явилось бранное прозвище – очень ехидное и, как казалось, остроумно сочиненное – “перевертыши”. Официальные литераторы, наслаждаясь безнаказанностью и ожидая щедрых подачек, куражились над двумя узниками:

“Мы вот выступаем открыто, нам нечего прятать от народа, а вы укрывались!”.

Но они накликали на режим еще горшее горе. Независимое слово, вместо того, чтобы перепугаться и замолчать, как не преминули бы сделать сами преследователи на его месте, приняло легкомысленно предложенные властями правила игры. Появились протесты, письма, статьи и целые книги, подписанные собственными именами авторов, сопровождаемые их настоящими адресами, а направлялись они открыто в правительственные учреждения, так что никакой сыскной работы от КГБ снова не требовалось. Было от чего опешить. Некоторое время власти притворялись, будто ничего подобного вовсе нет. Но независимое слово, обладающее неодолимой привлекательностью для мыслящего читателя, косвенно поддержанное усиливающейся цензурой, родившей оправданное недоверие к дозволенной литературе, распространялось неконтролируемыми тиражами, транспортировалось за границу без прямого участия автора и получало мировую аудиторию. Официальная печать, ослабленная роковой привычкой к глухой цензурной защите, не находилась, что ответить. А между тем действия властей в присутствии независимого слова и под его надзором совершенно уподобились неуютному положению голого короля, когда ребенок выкрикнул правду о его туалете. Единственным доступным для властей ответом было: хватать – не сочинения (до которых руки коротки), а их авторов.

Этот этап, отчасти продолжающийся и поныне, достиг вершины в суде над Галансковым и Гинзбургом. Галансков, например, в открытом письме к Шолохову, называя себя “подпольным литератором” и иронически задавая вопросом, какой же псевдоним себе избрать, проставил собственное имя. Так осуществилась нравственная победа независимого слова над подцензурным. Они повели себя так, как и во сне не снилось последнему, давно уже ставшему способом добывания хлеба с маслом – не более. А в подполье, как это ни поразительно, пришлось уходить всеильному режиму. Он утратил возможность говорить хоть приблизительную правду о подлинных поводах проводимых им репрессий. Он вынуждается лгать, но лгать приходится с беззастенчивой откровенностью, так как заранее известно, что всюду достанет его независимое слово – достанет и разоблачит. Он лишился даже видимости правового и нравственного оправдания своих действий. Единственный авторитет, который режим еще сохранил за собой, можно уподобить почтению труса к хулигану, всегда готовому на действие кулаком и финкой. Вот уж, действительно, кто истинный перевертыш, кувыркающийся на наклонной плоскости! И докатился он до заключения инакомыслящих в сумасшедшие дома, то есть до несомненной уголовщины. А меж тем авторитет независимого слова лишь повышается...

В публицистике Андрея Амальрика можно видеть

степень нравственной чистоты, достигнутой независимым словом в России. Не свободные литераторы создали положение, при котором каждое их выступление получает смысл не только более или менее глубокого высказывания, но и прямого общественного действия, поступка, предполагающего большое мужество. Но коль скоро такое положение сложилось, стало невозможно отделять познавательное или художественное содержание свободных произведений от их нравственного характера. Более того, – хорошо это или дурно, но нравственный рисунок поведения автора невольно попадает в центр читательского интереса. Ибо вопрос, как вести себя, как жить – самый больной и трудный сейчас для каждого честного интеллигента.

Так вот, Андрей Амальрик в том немногом, что он успел написать являет собой пример действия свободного литератора и человека в обстановке шантажа, противоправных арестов и фактически тайных судов. Вопрос о том, как призван вести себя литератор в условиях агонизирующего советского тоталитаризма не только прямо разбирается в “Открытом письме Анатолию Кузнецову” и в статье “Иностранцы корреспонденты в Москве”, но как бы иллюстрируется всем, что опубликовано Андреем Амальриком. Личность этого публициста сообщает самую глубокую целостность его творчеству, делая его при этом жгуче интересным.

Сам Амальрик сравнил себя с вдруг заговорившей

рыбой. И это не преувеличенная претензия. Та свобода, с которой он писал и действовал, на самом деле производит впечатление едва ли не чуда. С того момента, как была опубликована его работа о теперешнем положении Советского Союза и его будущем, не уставали удивляться и внутри страны, и тем более за ее пределами, отчего он еще не в тюрьме. Прямота и безоглядность его слова вызывали даже нелепые подозрения в какой-то тайной договоренности с режимом, что, впрочем, имело скрытой причиной непроизвольную неприязнь людей робких к отчаянной смелости.

В чем же настоящий секрет Андрея Амальрика? Почему он позволил себе то, на что не рискнули другие – и не только закрепощенные советские люди, но и корреспонденты из свободного мира? В письме Анатолию Кузнецову Амальрик писал: “Вы говорите все время о свободе, но о свободе внешней, свободе вокруг нас, и ничего не говорите о свободе внутренней, то есть свободе, при которой власть многое может сделать с человеком, но не в силах лишить его моральных ценностей. Но, видимо, такая свобода и связанная с ней ответственность есть обязательная предпосылка свободы внешней. Быть может, в некоторых странах свобода выражения своих мыслей достается человеку так же легко, как воздух. Но там, где этого нет, такая свобода, я думаю, может быть только результатом упорного отстаивания своей внутренней свободы”. Сам Амальрик – “внутренне свобо-

ден”. А его произведения представляют собой необходимые этапы не только отстаивания этой внутренней свободы, но и отработки ее в себе. Вот, кажется, его единственный секрет.

Но преодоление рефлекса страха еще не родит внутреннюю свободу. Это, как ни странно, самое легкое. Недюжинную храбрость могут обнаруживать и рабы, но именно как рабы. На выработку такого рода храбрости, для которой не нужна внутренняя свобода, а наоборот, требуется ее отсутствие, направлена ведомая сейчас кампания “патриотического воспитания”. Действительная внутренняя свобода предполагает не только независимость внешнего поведения, но и независимость от принудительных косячных норм, от жупелов любого фасона. Внутренне свободный человек и в мыслях, и в чувствах и в действиях своих руководствуется чистыми ценностями, которые он сам выработал и освоил.

Трудность осуществления внутренней свободы вызывается не понуждением и насилием власти, а прежде всего тем насилием, которое вершит каждый над самим собой. Это особенно очевидно в таком неправовом государстве, какова Россия, где правит не четко и открыто сформулированный закон, а обычай и обычное право. Все почему-то убеждены, скажем, что то-то недопустимо и недозволено. Причем почему именно недопустимо и недозволено, никто толком не знает, да и объяснять не берется. Недозволено – и все тут.

Для Амальрика подобных мифических запретов не существует. Он поступает и пишет так, как если бы их не было, и всем становится видно, что их на самом деле нет. Это особенно рельефно обнаруживается на примере отношения Амальрика к загранице и иностранцам. Комплекс неполноценности перед Западом, а вследствие этого и вздорная заносчивость, и жажда представиться в более привлекательном виде, припрятав собственные пороки и язвы, составляет, можно сказать, характерную черту русского национального склада. В советское время эти черты сложились в целую систему своего рода театра, когда все компатриоты сознают себя как бы актерами в едином спектакле, по отношению к которому партером оказывается весь остальной мир. Неукоснительным правилом игры считается не обращаться прямо и бесхитростно к зрительному залу и не портить этим эффект всего представления. Всякий советский житель, в сущности, осведомлен, чего стоят демонстрации, митинги, социалистические соревнования, выборы и прочие выражения преданности режиму; он знает, “как это делается”, но продолжает принимать участие в этих зрелищах для иностранцев не только под нажимом страха (это было бы полбеда!), но со всей истовостью: не выносить же сор из избы! Но тем самым внутренняя несвобода силой коллективного авторитета превращается в несвободу внешнюю. Именно так, а не наоборот. И прав Амальрик, когда утверждает в письме Кузнецову,

что в борьбе за свободу надо начинать с самих себя, с выработки собственной внутренней свободы. Амальрик выносит сор из избы. И сразу ясно становится, что это единственно перспективный способ действия, что лучше добиваться чистоты в доме, чем утопать в грязи, представляясь аккуратным заезжему посетителю. Все это настолько несомненно, что даже власти теряются: как же признаться, что больше всего ценишь и сберегаешь всяческую нечистоплотность?

Поучительным выражением внутренней свободы является и высокая степень объективности Амальрика. В полемике он сохраняет уважение к оппоненту, обнаруживая поистине европейскую терпимость. То, что он пишет, достойно. Можно спорить с теми или иными его утверждениями, обсуждать недоказанность и даже недодуманность, но нельзя сомневаться в том, что автора интересует лишь истина – истина, как она ему видится. Не бить на жалость, не разжигать эмоции, а способствовать действительному знанию о своей стране советует он Кузнецову. Искажение информации о Советском Союзе заботит Амальрика и в статье об иностранных корреспондентах в Москве.

Некоторые утверждения Амальрика о будущем России, как и о ее прошлом, возможно, покажутся некоторой категории читателей непатриотичными. Не буду обсуждать здесь эти утверждения по существу. Но неужели писатель обязан препарировать свои положения в угоду какому-то, пусть и

весьма достойному, чувству? Не являются ли такие искажения как раз плодом внутренней несвободы? Да и лучше ли для отечества замалчивать о грядущей беде, чем открыто предупреждать о ней? Взгляд Амальрика на будущее вообще пессимистичен. Он ничего хорошего в будущем не ожидает. Обозревая различные оппозиционные направления мысли и действия в России (кстати, этот обзор уже потому важен, что он – первый), Амальрик не скрывает их слабость и малую вероятность успеха, хотя и признает их, с другой стороны, единственными “антиэнтропическими” тенденциями в стране. Он остается сам по себе и по отношению к режиму, и по отношению к оппозиции режиму. Но этот пессимизм, при условии внутренней независимости, приводит Амальрика как публициста не к растерянности, не к слезным жалобам на свою беспомощность, не к коллаборантству, как это случается с некоторыми разуверившимися интеллигентами, а к непреложному выводу, что следует полагаться на самого себя. Пессимизм Амальрика конструктивен. Он оказывается прекрасным материалом, из которого публицист кует свою внутреннюю свободу. И здесь его опыт тоже не должен пройти даром для читателя.

В перечислении различных оппозиционных режиму позиций Амальрик, видимо, руководимый своим стремлением к объективности, не упомянул о собственной, которую можно назвать “позицией внутренней свободы”. И хотя власти, не удержавшись,

арестовали Амальрика, хотя сейчас его ждет глухой суд в Свердловске, подальше от Москвы и расквартированных здесь иностранных корреспондентов, власти еще будут иметь возможность убедиться, что с “внутренней свободой” нельзя управиться репрессиями. От внешних насилий она лишь закаляется, а насильники при этом бьют в собственные ворота.

[Весна 1970]

Яр. Ясный

СОДЕРЖАНИЕ

Главному редактору газеты “Известия”	1
Союзу журналистов СССР	9
Открытое письмо А. Кузнецову	12
В редакции газет “Нью-Йорк Таймс”, “Вашингтон Пост”, “Лос-Анжелес Таймс” (США), “Таймс” (Англия), “Ле Монд” (Фран- ция), “Хет Пароль” (Голландия)	28
Я хочу, чтобы меня правильно поняли	31
В редакцию журнала “Шпигель”	49
Иностранные корреспонденты в Москве	55
Ответы корреспонденту Колумбия Бродкас- тинг Систем	78
Ответ на вопрос, признаю ли я себя виновным	83
Последнее слово	85
Приложение I. Петр Якир: Письмо в редак- ции “Хроники текущих событий” и “Таймс”	87
Приложение II. Петр Якир: Открытое письмо Андрею Амальрику	88
Приложение III. Яр. Ясный: Андрей Амаль- рик как публицист	90